

Александр Топал

ЧУЖИЕ
ГОРОДА.
ТЕ ЖЕ
ВОСПОМИНАНИЯ.

Юля

Я всегда
буду с тобой...
Юля

Константинополь

ИНОГДА
ПАМЯТЬ
ДЛИННЕЕ
ВОЙНЫ

ЗДЕСЬ
ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
НО ТО ЖЕ НЕБО



Александр Топал

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

«Автор»

2026

Топал А.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ / А. Топал — «Автор», 2026

1916 год. Русский офицер Евгений Капорин приходит в себя среди мёртвых после боя — без документов, без памяти, без собственного имени. Плен, голод, чужая страна и годы в Константинополе превращают его жизнь в мучительный поиск самого себя. Он забывает жену, дом, семью и прошлое, но сохраняет главное — внутренний нравственный закон: человека можно лишить дома, денег и имени, но нельзя заставить стать подлецом, если он сам этого не позволит. Постепенно к Евгению возвращаются обрывки памяти: Петербург, Юлия, война, фамилия Немчин, родная степь. Но вместе с прошлым приходят вина, любовь, тайны и судьбы будущих поколений. «Константинополь» — второй роман семейной трилогии, начатой книгой «Белые слёзы любви» и продолжающейся в «Гравитации Времени». Это историко-психологический роман о памяти, достоинстве, любви и человеке, который потерял своё имя, но не потерял себя.

© Топал А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	110

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Глава

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог

Глава 1. Плен

Глава 2. Сирота

Глава 3. Чужое имя

Глава 4. Юлия

Глава 5. Чужая земля

Глава 6. Запах дома

Глава 7. Письмо без адреса

Глава 8. Эля

Глава 9. Два имени

Глава 10. Две девочки

Глава 11. Среди своих

Глава 12. Последняя ночь

Глава 13. Два брата

Глава 14. Человек без документов

Глава 15. Чужая фамилия

Глава 16. Письма с войны

Глава 17. Немчины

Глава 18. Дом, которого больше нет

Глава 19. Право не стать подлецом

Глава 20. Последний бой

Глава 21. Степь

Глава 22. Капорин

Глава 23. След

Глава 24. Константинополь

ГЛАВА 1 ПЛЕН

1916 год

Сначала он слышал муху.

Не выстрел.

Не человеческий голос.

Не артиллерию.

Муху.

Она жужжала где-то совсем рядом.

Настойчиво.

Ровно.

Будто ничего не произошло.

Мир погиб, а муха продолжала заниматься своими делами.

Он попытался открыть глаза.

Не получилось.

Попробовал ещё раз.

Перед лицом был серый свет.

Небо.

Нет.

Не только небо.

Что-то закрывало его сбоку.

Чья-то рука.

Он смотрел на неё несколько секунд, прежде чем понял, что рука человеческая.

Она лежала ладонью вверх.

На пальце было кольцо.

Чуть дальше — рукав русской шинели.

Он хотел повернуть голову.

Внутри черепа что-то качнулось.

Боль пришла сразу.

Не острая.

Тяжёлая.

Как будто голову заполнили свинцом и теперь этот свинец медленно перекатывался от виска к виску.

Он закрыл глаза.

Тошнота поднялась из живота.

В ушах стоял гул.

Далеко.

Или близко.

Он не мог понять.

Над землёй висел запах дыма.

Сырой почвы.

Пороха.

Крови.

Ещё чего-то сладковатого, от чего хотелось отвернуться.

Он снова открыл глаза.

Рука осталась на месте.

За ней лежал человек.

Лицо было повёрнуто в другую сторону.

Человек не двигался.

Он посмотрел ещё дальше.

Ещё один.

Потом ещё.

Мундир.

Сапоги.

Серая шинель.

Разбитая повозка.

Лошадь.

У неё были открыты глаза.

Почему-то именно это испугало его сильнее человеческих тел.

Он попытался подняться.

Левая рука подогнулась.

Он упал лицом в землю.

Из груди вырвался звук.

Не слово.

Стон.

Земля пахла мокрой травой.

Он лежал, тяжело дыша, и пытался понять самое простое.

Где он?

Ответа не было.

Тогда другой вопрос.

Что произошло?

Тоже ничего.

Он сделал ещё одну попытку.

На этот раз удалось опереться на локоть.

Мир накренился.

Перед глазами потемнело.

Он переждал.

Постепенно предметы снова заняли свои места.

Поле.

Разбитые деревья.

Тела.

Окоп.

Орудийный лафет без колеса.

Дым над дальним перелеском.

Он посмотрел на себя.

На нём была форма.

Русская.

Это он понял.

Почему — не знал.

Просто понял.

Мундир был разорван возле плеча.

На рукаве засохла кровь.

Он провёл рукой по груди.

Пуговицы.

Ремень.

Кобуры не было.

Он полез в карман.

Пусто.

В другой.

Ничего.

Внутренний карман.

Пуст.

Он ощупал гимнастёрку, брюки.

Ни бумаги.

Ни письма.

Ни записной книжки.

Ни жетона.

Ничего, что могло бы ответить на самый странный вопрос из всех.

Кто я?

Он замер.

Мысль показалась настолько нелепой, что сначала он почти усмехнулся.

Кто я?

Человек обычно не задаёт себе такого вопроса.

Он знает.

Имя должно было появиться само.

Как дыхание.

Как слово «рука».

Как слово «небо».

Он ждал.

Ничего.

Он попробовал намеренно.

Имя.

Его имя.

В голове был белый шум.

Он нахмурился.

Сильнее.

Будто память можно было выдавить усилием.

Имя.

Фамилия.

Ничего.

Он посмотрел на собственные руки.

Они казались знакомыми.

Конечно знакомыми.

Но он не помнил, когда впервые увидел их.

Сколько ему лет?

Где его дом?

Есть ли у него отец?

Мать?

Жена?

Дети?

На каждом вопросе внутри открывалась пустота.

Он почувствовал настоящий страх.

До этого был только инстинкт.

Боль.

Опасность.

Теперь пришёл ужас.

Он знал русский язык.

Знал, что перед ним русская форма.

Знал, что лежащий рядом человек мёртв.

Знал, что кольцо на его пальце обручальное.

Но не знал собственного имени.

Он попытался заговорить.

— Я...

Голос не вышел.

Только силпый воздух.

Он сглотнул.

Горло болело.

Попытался ещё раз.

— Я...

Получилось едва слышно.

Следующее слово не пришло.

Не потому, что он его забыл.

Будто рот отказался слушаться.

Губы двигались.

Язык был тяжёлым.

Он испугался ещё сильнее.

Где-то справа раздался крик.

Он замер.

Потом — другой.

Чужая речь.

Несколько голосов.

Он не понимал слов.

Люди приближались.

Послышался звон металла.

Лошади.

Чьи-то команды.

Он хотел отползти.

Куда?

Вокруг было поле.

Он подтянул колено.

Боль пронзила бок.

Он упал обратно.

Голоса стали ближе.

Из-за разбитой повозки показались люди.

Форма была не русская.

Первый шёл с винтовкой.

На голове — феска, поверх которой была намотана грязная ткань.

За ним второй.

Третий.

Они осматривали тела.

Иногда переворачивали их сапогами.

Один наклонялся, забирал ремни, подсумки, оружие.

Другой проверял карманы.

Он понял.

Пленные.

Или добивают.

Он не знал, откуда пришло это понимание.

Наверное, война оставила в голове больше, чем имя.

Он попытался притвориться мёртвым.

Закрыв глаза.

Замер.

Сердце ударило так сильно, что ему казалось — это слышно.

Шаги приблизились.

Кто-то остановился возле него.

Сапог коснулся бедра.

Потом сильнее.

Его перевернули на спину.
Он не выдержал.
Открыл глаза.
Над ним стоял молодой солдат.
Смуглое лицо.
Редкие усы.
Он что-то крикнул.
Другие засмеялись.
Солдат наклонился, потянул за ворот.
Увидел знаки различия.
Позвал кого-то.
Подошёл другой человек.
Старше.
Коренастый.
На боку висела сабля.
В правой руке он держал короткую кожаную плеть.
На ней что-то темнело.
Он посмотрел на русского офицера.
Не на лицо.
Сначала на форму.
Потом на плечи.
Потом на пустую кобуру.
И сказал по-русски:
— Вставать.
Акцент был сильный, но слова понятные.

Он попытался.

Не смог.

Турок ударил плетью по сапогу.

— Вставать!

Он упёрся ладонью в землю.

Поднялся на колени.

Мир снова покачнулся.

— Хорошо.

Турок присел перед ним.

Лицо его было усталым.

Не злым.

Это почему-то пугало ещё больше.

Он протянул руку.

— Бумага.

Русский смотрел.

— Документ.

Тот же взгляд.

Турок сам полез в карманы.

Один.

Второй.

Расстегнул ворот.

Проверил за пазухой.

Ничего.

Снова посмотрел на него.

— Где?

Русский открыл рот.

Не смог ответить.

Турок нахмурился.

— Где документ?

Он покачал головой.

Боль ударила в затылок.

Его вырвало в траву.

Кто-то из солдат рассмеялся.

Турок отступил.

Подождал.

Потом подозвал двоих.

Те подняли русского за руки.

Он стоял между ними, почти повиснув на плечах.

И тогда услышал русский голос.

— Господа...

Он резко повернул голову.

В нескольких шагах лежал ещё один офицер.

Старше.

Лет сорока.

Может быть больше.

Правая нога была неестественно вывернута.

Лицо серое.

Но он был жив.

— Господа...

Офицер посмотрел на турка с плетью.

— Воды.

Тот подошёл.

Русский повторил:

— Воды.

Турок понял.

Улыбнулся.

Снял с пояса флягу.

Офицер потянулся.

Турок поднёс флягу почти к его губам.

И убрал.

Несколько солдат засмеялись.

Офицер закрыл глаза.

— Скотина...

Турок изменился в лице.

Он понял и это слово.

Удар плети пришёлся по плечу.

Русский вздрогнул.

— Не надо, — сказал он.

Второй удар.

По груди.

— Не надо.

Третий.

Он попытался закрыться руками.

Турок ударил сильнее.

Русский крикнул.

Человек без имени дёрнулся вперёд.

Солдаты удержали его.

Он сам не понял, зачем сделал это.

Тело отреагировало раньше головы.

Турок слышал.

Обернулся.

Но только на мгновение.

Снова ударил лежащего.

Плеть свистела коротко.

Методично.

Без ярости.

Будто человек выполнял работу.

Офицер перестал просить.

Потом перестал кричать.

Только дёргался.

Человек без имени пытался отвернуться.

Солдат рядом схватил его за волосы и заставил смотреть.

— Бак!

Он не понял слова.

Но понял приказ.

Смотри.

Турок ударил ещё раз.

Потом ещё.

Русский офицер больше не двигался.

Турок остановился.

Тяжело дышал.

На кожаной плети блестела кровь.

Он вытер её о шинель убитого.

Потом повернулся.

И пошёл к нему.

Очень спокойно.

Шаг.

Ещё шаг.

Человек без имени смотрел на плеть.

Она была почти чёрная у конца.

Турок остановился напротив.

— Ты.

Он не ответил.

— Кто ты?

Тишина.

— Фамилия?

Русский смотрел на него.

— Фа-ми-ли-я.

Он открыл рот.

Ничего.

— Имя?

Пустота.

— Имя!

— Я...

Турок ждал.

— Я...

Следующего слова не существовало.

— Часть?

Ничего.

— Полк?

Ничего.

— Командир?

Пустота.

Турок схватил его за подбородок.

Повернул голову.

Пальцами нащупал рану возле виска.

На пальцах появилась кровь.

Поднял два пальца.

— Сколько?

Русский видел пальцы.

Два.

Он знал число.

Но сказать не мог.

Только поднял два пальца собственной руки.

— Русский?

Он кивнул.

— Офицер?

Ещё один кивок.

— Имя?

Глаза русского наполнились отчаянием.

Он ударил себя ладонью по груди.

— Я...

И вдруг в голове мелькнуло женское лицо.

Тёмные волосы.

Глаза.

Светлая комната.

И исчезло.

Турок снова ткнул пальцем ему в висок.

— Контузия.

Показал руками взрыв.

— Бум.

Потом постучал по голове.

— Пусто.

Солдаты засмеялись.

Русский не засмеялся.

Турок ещё раз тщательно обыскал его.

Ничего.

Ни документов.

Ни письма.

Ни фотографии.

Ни имени.

Турок поднял плеть.

Русский непроизвольно закрыл глаза.

Удара не последовало.

— Живой пригодится.

Турок указал на обоз.

— Идти.

Ему связали руки за спиной.

Верёвка была грубая.

Его толкнули.

Он сделал шаг.

Потом второй.

Третий.

Он обернулся.

Мёртвый офицер лежал там же.

Рука вытянута.

Ладонь вверх.

Турок заметил взгляд.

— Не смотреть.

Плеть ударила по спине.

Русский пошёл.

Обоз уже двигался.

Телеги.

Лошади.

Пленные.

Раненые.

Кто-то шёл босиком.

У кого-то пустой рукав был привязан к плечу.

Один старый солдат хромал, опираясь на палку.

Русского пристроили в конец колонны.

К его верёвке привязали ещё двоих.

Один из них посмотрел на его форму.

— Ваше благородие...

Русский повернул голову.

Слова были понятны.

Но обращение ничего не вызвало.

— Вы из какого?

Он молчал.

Через несколько шагов солдат спросил:

— Ранены?

Русский показал на голову.

— Контузило?

Кивок.

Солдат постучал пальцем по виску.

— Не помните?

Медленный кивок.

— Ничего?

Он попытался заговорить.

— Н... не...

Солдат посмотрел внимательнее.

— Имя-то своё помните?

Русский остановился.

Верёвка натянулась.

Сзади кто-то выругался.

Турок крикнул.

Пленных толкнули дальше.

— Имя? — повторил солдат уже на ходу.

Русский долго смотрел перед собой.

Потом покачал головой.

Солдат перекрестился.

— Господи...

Дорога уходила между полями.

По обе стороны оставались следы боя.

Разбитые повозки.

Воронки.

Деревья без ветвей.

Тела.

Человек без имени шёл.

С каждым шагом голова становилась тяжелее.

Хотелось лечь.

Просто упасть возле дороги.

Но он видел, что происходило с теми, кто падал.

Первого подняли.

Второго ударили прикладом.

Третий не поднялся.

Его отвязали и оставили.

Русский понял правило.

Идти.

Пока можешь — идти.

Ноги знали, как идти.

Спина знала, как держаться прямо.

Даже связанные руки будто знали, что нельзя показывать слабость.

Откуда это?

Кто научил?

Он не знал.

Через час стало холоднее.

Над полями пополз туман.

Вдалеке виднелись холмы.

Он смотрел на них.

Что-то было знакомое.

Нет.

Не эти холмы.

Другие.

Далёкие.

Снег.

Почему снег?

Перед глазами вдруг стало бело.

Он споткнулся.

Солдат рядом подхватил его плечом.

— Держитесь, ваше благородие.

Белое не исчезало.

Снег.

Деревянный дом.

Дым из трубы.

Чьи-то руки.

Женский голос.

Он уже не слышал дороги.

Он видел мальчика.

Маленького.

В тяжёлой шубейке.

Мальчик бежал через снег.

И почему-то человек без имени знал каждое его движение.

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1880-е годы

— Бабушка!

Снег доходил почти до колен.

Мальчик проваливался, выбирался, снова проваливался и всё равно бежал.

Шапка съехала набок.

Шарф давно развязался.

Один конец волочился за ним по снегу.

— Бабушка!

Из конюшни высунулся работник.

— Евгений Николаевич! Куда же вы?!

Мальчик даже не остановился.

— К бабушке!

— Так ведь она в доме!

— Я знаю!

— Тогда зачем через сад?!

— Так быстрее!

Работник посмотрел на сугроб, в котором маленький хозяин увяз почти по пояс.

— Конечно.

Мальчик выбрался.

Побежал дальше.

За садом начиналась степь.

Белая.

Огромная.

Зимой она казалась бесконечной.

Небо было низким, серым, и трудно было понять, где заканчивается земля и начинается воздух.

Дом Капориных стоял немного в стороне от дороги.

Не дворец.

Не богатая усадьба столичного вельможи.

Большой деревянный дом с каменным первым этажом, конюшней, хозяйственными постройками и садом, который зимой превращался в лес из чёрных ветвей.

На крыльце стояла женщина.

В тёмном платье.

С шерстяной шалью на плечах.

Она смотрела, как внук пробирается через снег.

Не звала.

Не торопила.

Ждала.

Мальчик наконец добежал.

— Бабушка!

— Вижу.

— Там!

Он задышался.

— Что — там?

— Миша.

— Какой Миша?

— Конюшего сын.

— И?

— Его Пётр ударил.

Она нахмурилась.

— Кто такой Пётр?

— Новый работник.

— За что?

— Миша уронил ведро.

— И ты прибежал сообщить мне?

— Да.

— Почему?

Мальчик посмотрел на неё так, будто вопрос был странным.

— Потому что он его бьёт.

— Миша сам не может за себя ответить?

— Он маленький.

— Младше тебя?

— На год.

— Значит, не такой уж маленький.

Евгений нахмурился.

— Бабушка.

Она выдержала паузу.

— Хорошо. Пойдём.

Мальчик развернулся.

— Быстрее!

Она не двинулась.

— Евгений.

Он остановился.

— Что?

— Подними шарф.

Он посмотрел назад.

Один конец действительно лежал в снегу.

— Потом.

— Сейчас.

— Но Мишу...

— Если ты решил спасать людей, сначала научись не терять собственный шарф.

Он недовольно вернулся.

Поднял.

Отряхнул.

Обмотал вокруг шеи.

— Всё.

— Теперь пойдём.

Они дошли до хозяйственного двора.

Пётр стоял возле бочки.

Миша плакал.

На щеке краснела полоса.

Увидев хозяйку, работник снял шапку.

— Сударыня...

Она посмотрела на мальчика.

— Миша. Что произошло?

— Я ведро...

— Говори спокойно.

— Ведро уронил.

— Нарочно?

— Нет.

— Разбил?

— Нет.

— Воду разлил?

— Да.

Она повернулась к Петру.

— Вы его ударили?

Работник замялся.

— Так ведь балуется.

— Я не спрашивала, балуется ли он.

— Ударил.

— Чем?

— Рукой.

— Ещё раз ударите ребёнка — уйдёте.

Пётр поднял голову.

— Сударыня...

— Я сказала ясно?

— Ясно.

Она повернулась.

Евгений стоял рядом, очень довольный.

Бабушка посмотрела на него.

— А ты чего улыбаешься?

Он перестал.

— Ничего.

— Ты прибежал не для того, чтобы восторжествовала справедливость.

— Для чего?

— Чтобы я наказала Петра.

Мальчик промолчал.

— Но он плохой.

— Возможно.

— Он ударил Мишу.

— Это плохо.

— Значит, я прав.

— В чём?

Евгений задумался.

— Что его надо наказать.

— Нет.

— Почему?

— Его надо остановить.

Она взяла внука за плечо.

— Запомни. Если человек делает зло и ты хочешь, чтобы ему стало больно, — это месть. Если ты хочешь, чтобы он больше не смог сделать зло другому, — это справедливость.

Евгений нахмурился.

— А если и то и другое?

Она едва заметно улыбнулась.

— Тогда тебе ещё предстоит вырасти.

Они пошли обратно.

Через несколько шагов Евгений спросил:

— А если Пётр снова ударит Мишу?

— Уйдёт.

— А если ударит меня?

— Сначала постарайся не дать себя ударить.

— А потом?

— Потом тебе придётся самому решить, что делать.

— Я его ударю.

— Возможно.

— Сильно.

— Возможно.

— Чтобы больше не бил.

— Вот это уже лучше.

Мальчик некоторое время молчал.

Снег скрипел под ногами.

— Бабушка.

— Да?

— А если меня будут бить много людей?

Она остановилась.

Вопрос был детским.

Ответ оказался взрослым.

Она поправила ему шарф.

— Тогда постарайся не стать похожим на них.

— И всё?

— Нет.

Она наклонилась.

Теперь их глаза были почти на одном уровне.

— Евгений, человека можно лишить дома.

Мальчик слушал.

— Можно отнять деньги.

Она коснулась пальцем его груди.

— Можно даже отнять имя.

Он засмеялся.

— Имя нельзя отнять.

— Иногда можно.

— Как?

— Жизнь длинная. Успеешь узнать.

Он перестал улыбаться.

— Но есть вещь, которую никто не сможет у тебя отнять без твоего разрешения.

— Какую?

— Право не стать подлецом.

Евгений задумался.

— Даже царь?

— Даже царь.

— Даже разбойники?

— Даже разбойники.

— Даже если будут бить?

Бабушка посмотрела на него долго.

— Особенно если будут бить.

Мальчик кивнул.

Не потому, что понял.

Просто запомнил.

А память иногда сохраняет странные вещи.

Можно забыть лицо.

Можно забыть дом.

Можно забыть имя женщины, которую любил.

Можно однажды проснуться среди мёртвых и обнаружить внутри собственной головы пустоту.

Но слова, услышанные в детстве, иногда уходят глубже памяти.

Туда, откуда человек уже не может их извлечь.

И всё же продолжает им следовать.

Он пришёл в себя от удара.

Плеть хлестнула по плечу.

— Идти!

Белый снег исчез.

Перед ним снова была грязная дорога.

Обоз.

Связанные руки.

Чужие солдаты.

Человек без имени несколько секунд не понимал, где находится.

Потом вспомнил.

Нет.

Не вспомнил.

Просто увидел.

Война.

Плен.

Рядом хромал русский солдат.

— Уснули на ходу, ваше благородие?

Человек без имени ничего не ответил.

Солдат помолчал.

— Как вас хоть называть?

Он посмотрел на него.

Вопрос снова открыл пустоту.

— Не помните?

Медленный кивок.

Солдат вздохнул.

— Ну нельзя же человека никак не называть.

Он подумал.

— Будете пока Иваном.

Человек без имени покачал головой.

— Не нравится?

Пленный едва слышно произнёс:

— Не... знаю.

Солдат посмотрел на него.

— Говорите всё-таки.

Он снова попытался.

— Не... знаю.

— Это уже хорошо. Если можете сказать «не знаю», значит, когда-нибудь скажете и то, что знаете.

Человек без имени посмотрел на него.

И впервые после того, как открыл глаза среди мёртвых, почувствовал что-то похожее не на страх.

Просто рядом шёл человек, который говорил на его языке.

Этого пока было достаточно.

К вечеру начал моросить дождь.

Пленные промокли.

На одной из телег лежали раненые турецкие солдаты.

Один стонал непрерывно.

Совсем молодой.

На повороте колесо попало в яму.

Раненый начал соскальзывать.

Человек без имени рванулся вперёд.

Верёвка впилась в запястья.

Он подставил плечо.

Тело раненого ударилось о него.

Турецкий возница закричал.

Другой солдат подбежал.

Они подняли раненого обратно.

Один из конвоиров замахнулся на русского.

Но человек с плетью остановил его.

Русский вернулся в цепь.

Солдат рядом удивлённо спросил:

— Зачем?

Человек без имени посмотрел на телегу.

— Упал.

— Турок.

Человек молчал.

— Он же турок.

Пленный долго искал слова.

Наконец произнёс:

— Раненый.

Солдат усмехнулся.

— Вот уж точно голову вам вышибло.

Почему он подхватил врага?

Он не знал.

Почему не дал ему упасть?

Не знал.

Его руки сделали это раньше, чем он успел подумать.

Он вообще ничего о себе не знал.

Но где-то очень далеко, в белой степи, женщина в тёмном платье когда-то сказала мальчику:

Если человек делает зло и ты хочешь, чтобы ему стало больно — это месть. Если ты хочешь, чтобы он больше не смог сделать зло другому — это справедливость.

Он не помнил этих слов.

Не помнил женщину.

Не помнил снега.

Не помнил дома.

Но продолжал жить так, словно помнил.

К ночи колонна остановилась возле деревни.

Пленных согнали за низкий каменный сарай.

Он сел возле стены.

Русский солдат устроился рядом.

— Есть хотите?

Человек без имени кивнул.

Солдат достал кусок сухаря.

Разломил.

Половину протянул ему.

Пленный посмотрел.

Потом разломил свою половину ещё раз и протянул часть старику, который сидел по другую сторону.

У старика была перевязана рука.

— Мне?

Кивок.

— Да вы сами...

Человек без имени протянул настойчивее.

Старик взял.

— Спаси вас Господь.

Русский солдат покачал головой.

— Не помнит, кто он. А привычки барские остались.

Человек без имени ел медленно.

Сухарь царапал горло.

Это была первая еда, о которой он помнил.

Не первая в жизни.

Первая в той новой жизни, у которой пока не было прошлого.

В темноте кто-то молился.

Кто-то стонал.

Турки разговаривали у костра.

Человек с плетью сидел чуть в стороне.

Русский смотрел на неё.

Перед глазами снова появился офицер на поле.

Серое лицо.

«Воды».

Удар.

Ещё.

И рука, которая перестала двигаться.

Он отвернулся.

Русский солдат рядом уже дремал.

— Иван...

Человек без имени посмотрел.

— Чего?

Он сам удивился.

Слово получилось почти нормально.

Солдат открыл один глаз.

Пленный показал на себя.

— Иван?

— Ну а как ещё? Пока имя не вспомните.

Человек без имени подумал.

— Не... Иван.

— Откуда знаете?

Он замер.

Действительно.

Откуда?

— Не знаю.

Солдат хмыкнул.

— Хорошо. Уже что-то.

Он начал перебирать имена.

— Николай?

Никакой реакции.

— Алексей?

Тишина.

— Михаил?

Ничего.

— Сергей?

Ничего.

— Павел?

На секунду что-то дрогнуло.

— Андрей?

Ничего.

— Дмитрий?

Ничего.

— Евгений?

Мир остановился.

Совсем ненадолго.

Человек без имени поднял голову.

Русский солдат заметил.

— Что?

Он молчал.

— Евгений?

Где-то внутри что-то отозвалось.

Очень тихо.

Не воспоминание.

Не образ.

Просто боль.

— Женья?

И вдруг он увидел лицо.

Женское.

На мгновение.

Она стояла возле окна.

Повернула голову.

Её губы двигались.

Он не слышал слов.

Но знал, что она обращается к нему.

И исчезла.

Он вскочил.

Голова закружилась.

— Тихо! Вы чего?

— Жен...

Слово оборвалось.

— Что?

Он схватился за голову.

Русский солдат придвинулся ближе.

— Женя?

Пленный тяжело дышал.

— Это ваше имя?

Он не знал.

— Евгений?

Тот медленно произнёс:

— Не... знаю.

И это было страшнее всего.

Имя что-то открыло.

Но недостаточно.

Дверь внутри дрогнула — и снова закрылась.

Солдат положил голову на стену.

— Ничего. Вспомните.

Он сказал это просто.

Будто речь шла о забытой вещи.

— Не сегодня, так завтра.

Пленный закрыл глаза.

Он не знал, существует ли у него завтра.

Не знал, кто такая женщина возле окна.

Не знал, почему слово «Женя» причиняет боль.

Не знал, почему отдал хлеб незнакомому старику.

Не знал, почему подхватил падающего с телеги врага.

Не знал, почему вид мёртвого русского офицера вызывал в нём чувство унижения, словно плеть ударила не одного человека.

Он не знал ничего.

Кроме нескольких вещей.

Он русский.

Когда-то был офицером.

Его, возможно, звали Евгением.

И он не хотел умирать.

Этого было достаточно, чтобы дожидаться утра.

А утром его снова поставили в колонну.

Снова связали.

Снова погнали за обозом.

Впереди лежала дорога.

За дорогой — плен.

За пленом — чужая страна.

За чужой страной — Константинополь.

Но до города, название которого однажды станет последним словом его телеграммы, оставались годы.

Годы без фамилии.

Без дома.

Без Юлии.

Без себя.

Он шёл.

И пока человек шёл, история ещё не была закончена.

ГЛАВА 2 **СИРОТА**

Семипалатинская область.

Конец 1880-х — 1890-е годы.

В ту ночь Евгений проснулся от того, что в доме никто не спал.

Он понял это не сразу.

Сначала просто открыл глаза и увидел полоску света под дверью. Потом услышал шаги в коридоре. Тихие, непривычно осторожные. Кто-то прошёл мимо комнаты, остановился, снова пошёл. За стеной приглушённо говорили взрослые.

Так говорили только тогда, когда происходило что-то плохое и детям пока не хотели объяснять что именно.

Евгений сел на кровати.

В комнате было холодно. Огонь в печи почти погас. За окном лежала степная ночь — чёрная, бесконечная, без единого звука. Мороз затянул стекло белыми узорами, и мальчику на секунду показалось, что весь мир находится по ту сторону этой ледяной решётки.

Он накинул на плечи рубаху и вышел.

В коридоре пахло воском, лекарствами и горячей водой.

У комнаты отца стояла бабушка.

Она была полностью одета, хотя обычно в такой час уже давно спала. Шаль плотно закрывала плечи. Лицо казалось старше, чем вчера.

— Бабушка?

Она подняла голову.

— Почему ты не спишь?

— А вы почему?

Она не ответила.

Евгений посмотрел на закрытую дверь.

— Папе хуже?

Бабушка подошла и положила ладонь ему на плечо.

— Иди к себе, Женя.

— Я хочу к нему.
— Сейчас нельзя.
— Почему?
— Потому что врач просил не мешать.
— Я не буду мешать.
— Женья.
Он знал этот тон. Не строгий. Окончательный.
Но в этот раз не послушался.
— Он умрёт?
Слова прозвучали слишком громко.
Из комнаты перестали говорить.
Бабушка на мгновение закрыла глаза.
Потом присела перед ним.
— Ты знаешь, что такое смерть?
— Когда человека хоронят.
— Это то, что делают живые.
— А тот, кто умер?
Она посмотрела на него долго.
— Тот уже ничего не боится.
Евгений нахмурился.
— А папа боится?
Ответа не было.
И тогда он понял больше, чем ему сказали.
Дверь открылась.
Вышел врач. Снял очки. Протёр их платком, хотя стёкла были чистыми.
Он посмотрел сначала на бабушку, потом на мальчика.
Этого оказалось достаточно.
Бабушка поднялась.
— Иди в комнату, Женья.
— Нет.
— Сейчас.
— Нет!
Он рванул к двери.
Бабушка перехватила его.
— Пусти!
— Женья!
— Папа!
Он впервые в жизни ударил её по руке.
Несильно. От отчаяния.
Они оба замерли.
Евгений посмотрел на собственную ладонь так, будто она принадлежала другому человеку.
Бабушка не рассердилась.
Просто обняла его.
Он сопротивлялся несколько секунд.
Потом перестал.
И заплакал.
Не потому, что уже понял смерть.
Потому что понял: взрослые больше не могут её отменить.

На похоронах было много людей.
Евгений почти никого не запомнил.
Запомнил чёрные лошадиные спины.
Снег на крышке гроба.
Священника, от дыхания которого на морозе шёл пар
И мать.
Она стояла рядом с ним и держала за руку так крепко, что пальцы болели.
Когда гроб начали опускать, Евгений вдруг спросил:
— А когда папа вернётся?
Мать вздрогнула.
Кто-то рядом отвернулся.
Бабушка присела к нему.
— Он не вернётся.
— Совсем?
— Совсем.
— Тогда зачем мы его ждём?
— Мы не ждём.
— А что делаем?
Она посмотрела на свежую землю.
— Учимся помнить.
Тогда эта фраза показалась ему бессмысленной.
Потом он проживёт достаточно, чтобы понять: ожидание и память — не одно и то же.
Ожидание смотрит на дверь.
Память — внутрь себя.

После смерти отца дом изменился.
Не сразу.
Те же люди вставали утром. На кухне топили печь. Конюхи выводили лошадей.
В столовой звенела посуда. Кто-то приезжал по делам. Кто-то увозил зерно.
Работники спорили во дворе.
Но всё происходило тише.
Как будто из дома вынесли не одного человека, а какой-то звук, без которого
остальные звуки стали чужими.
Мать пыталась держаться.
Первое время она сама разбирала счета, говорила с управляющим, проверяла кладовые.
Иногда поздно вечером Евгений видел её у письменного стола. Перед ней
лежали бумаги, но она не читала.
Просто сидела.
Однажды он подошёл сзади.
— Мам.
Она вздрогнула.
— Что, Женечка?
— Ты плакала?
— Нет.
— Врёшь.
Она удивилась.
— Что?
— Бабушка говорит, врать плохо.

Мать несколько секунд смотрела на него.

Потом неожиданно засмеялась.

Сквозь слёзы.

— Твоя бабушка ещё пожалеет, что научила тебя говорить правду.

— Почему?

— Потому что ты будешь говорить её всем подряд.

— А это плохо?

— Иногда очень неудобно.

Он не понял.

Но запомнил её улыбку.

Потом таких улыбок становилось всё меньше.

Вторую потерю он встретил уже иначе.

Не было ночной полоски света под дверью.

Не было вопроса: «Он умрёт?»

Когда заболела мать, Евгений почти сразу понял, куда движется дом.

Взрослые снова начали говорить шёпотом.

Снова появились лекарства.

Снова в коридоре пахло кипятком и воском.

Только теперь он не пытался прорваться в комнату.

Сидел возле двери.

Ждал.

На третий день мать сама попросила привести его.

Она лежала на высокой подушке. Волосы были убраны назад.

Лицо стало почти прозрачным.

— Иди сюда.

Евгений подошёл.

— Ближе.

Он сел на край кровати.

Мать взяла его руку.

— Слушай бабушку.

Он сразу разозлился.

— Не буду.

— Почему?

— Потому что все говорят мне, кого слушать, когда собираются умереть.

Она закрыла глаза.

Он испугался, что сказал страшное.

— Мам...

— Ничего.

Она снова посмотрела на него.

— Хорошо, что злишься.

— Почему?

— Значит, любишь.

— Тогда не умирай.

Она сжала его пальцы.

— Если бы это зависело от любви, люди жили бы вечно.

Евгений отвёл глаза.

— Я не хочу опять учиться помнить.

Мать заплакала.

Первый раз при нём.

— Иди сюда.

Он наклонился.

Она обняла его так сильно, как позволяли ослабевшие руки.

— Ты не останешься один.

— Останусь.

— У тебя бабушка.

— Она тоже умрёт.

Мать замерла.

— Когда-нибудь.

— Все умирают.

— Да.

— Тогда зачем к людям привязываться?

Этот вопрос испугал её сильнее детской жестокости предыдущих слов.

Она заставила его посмотреть на себя.

— Затем, что без этого жить вообще незачем.

— Но потом больно.

— Очень.

— Тогда это глупо.

Она улыбнулась.

— Может быть.

— Ты смеёшься.

— Немного.

— Почему?

— Потому что ты сейчас решил спор, который взрослые не могут решить тысячи лет.

— И кто прав?

— Не знаю.

Евгений удивился.

Взрослые редко признавались, что чего-то не знают.

Мать погладила его по щеке.

— Я только знаю, что лучше любить и потом плакать, чем никогда никого не любить.

Это был их последний долгий разговор.

Через несколько дней бабушка вошла к нему утром.

На этот раз ничего не объясняла.

Евгений посмотрел на её чёрное платье.

И сам сказал:

— Я понял.

После вторых похорон он не плакал.

На кладбище стоял прямо.

Отвечал взрослым.

Благодарил тех, кто подходил выразить соболезнования.

Кто-то сказал бабушке:

— Держится молодцом.

Она ничего не ответила.

Вечером нашла его в конюшне.

Евгений сидел в пустом стойле и смотрел в стену.

— Почему здесь?

— Здесь никто не говорит, что я держусь молодцом.

Бабушка присела рядом.
Некоторое время они молчали.
— Хочешь плакать — плачь.
— Не хочу.
— Врёшь.
Он посмотрел на неё.
— Ты тоже?
— Что — тоже?
— Говоришь правду всем подряд.
Она чуть улыбнулась.
— Семейное.
Он уткнулся лицом ей в плечо.
И только тогда заплакал.

С этого дня бабушка стала для него всем сразу.
Родителем.
Учителем.
Хозяином дома.
Судьёй.
И единственным человеком, перед которым он мог быть ребёнком.
Она не жалела его.
Именно поэтому он ей доверял.
Если Евгений ленился — заставляла работать.
Если ошибался — требовала признать ошибку.
Если пытался оправдаться — останавливала.
— Объяснение и оправдание — не одно и то же.
— А разница?
— Объяснение помогает понять, почему ты сделал глупость.
Оправдание помогает сделать её ещё раз.
Он терпеть не мог такие разговоры.
И запоминал почти каждый.

Одна зима выдалась особенно тяжёлой.
Урожай оказался хуже обычного. Цены упали. Несколько покупателей задержали расчёты. В доме впервые начали экономить так, чтобы это заметил даже Евгений.
На столе стало меньше мяса. Реже топили дальние комнаты. Из города не привезли привычных сладостей к Рождеству.

Евгений не страдал.

Ему даже нравилось, что взрослые наконец говорят о деньгах как о чём-то настоящем, а не как о бумагах, которые каким-то образом сами появляются в ящике стола.

Однажды он вошёл в кабинет и услышал разговор бабушки с управляющим.

— До весны не вытянем, — говорил тот. — Или задерживать жалованье, или занимать.
— Занимать.
— Сударыня, проценты.
— Я слышала.
— Люди поймут, если часть выплат перенести.
— Люди всегда всё понимают, когда их заставляют. Это не значит, что им от этого легче.
— Но хозяйство ваше.
— Именно поэтому мои трудности не должны становиться их голодом.

Евгений стоял у двери и слушал.
Управляющий заметил его первым.
— Евгений Николаевич.
Бабушка обернулась.
— Подслушиваешь?
— Я вошёл.
— А выйти не догадался?
— Было интересно.
Управляющий кашлянул.
— Я пойду.
Когда дверь закрылась, Евгений спросил:
— А почему нельзя заплатить позже?
— Можно.
— Тогда зачем занимать?
— Потому что у Семёна трое детей. У Николая больная жена. У Фёдора мать. Они продают мне своё время и труд. Я обещала платить за это вовремя.
— Но если денег нет?
— Значит, плохо рассчитала я. Не они.
— Ты возьмёшь долг ради работников?
— Ради своего слова.
Евгений задумался.
— А если потом не сможешь вернуть?
— Продам серебро.
— Мамино?
Бабушка посмотрела на него.
Он сразу пожалел о вопросе.
— И мамино тоже, если понадобится.
— Нельзя.
— Почему?
— Это память.
— Память не лежит в ложке.
— Ты всё хочешь продать.
— Нет. Я хочу понять цену вещей.
Евгений насупился.
— И какая цена?
Она открыла шкаф, достала серебряную ложку и положила на ладонь.
— Пока она в шкафу — это память. Если за неё можно купить хлеб для человека, которому обещали жалованье, — это хлеб.
— А потом памяти не останется.
— Останется. Если она настоящая.
Через неделю несколько серебряных предметов действительно исчезли из буфета.
Евгений ничего не спросил.
Зато в день расчёта видел, как работники один за другим выходили из конторы, пряча деньги за пазуху.
Последним был старый Семён.
Он снял шапку перед бабушкой.
— Спасибо, сударыня. Думал, нынче уж не будет.
— За что спасибо? Вы заработали.
— Всё равно.

Он поклонился и ушёл.

Евгений спросил:

— Ты рада?

— Чему?

— Что всем заплатила.

— Нет.

— Почему?

— Потому что взрослый человек не должен гордиться тем, что просто выполнил обещание.

— А чем должен?

— Лучше вообще пореже гордиться собой. Очень мешает видеть собственные ошибки.

Он вздохнул.

— С тобой невозможно почувствовать себя хорошим человеком.

— Вот и славно. Значит, есть надежда им стать.

Евгений рассмеялся.

Много лет спустя он не вспомнит ни этот кабинет, ни серебряную ложку, ни старого Семёна.

Но однажды, голодный сам, разделит последний кусок хлеба с человеком, который будет ещё голоднее.

И не сможет объяснить почему.

В двенадцать лет он едва не погубил жеребёнка.

Вечером торопился домой и плохо закрыл боковую дверь конюшни.

Ночью поднялся ветер.

Дверь распахнуло.

Молодая лошадь выбралась во двор, испугалась шума, поскользнулась на обледеневшей земле и сильно повредила ногу.

Утром конюший ругался так, что его слышали у дома.

— Кто оставил засов?!

Евгений стоял возле стены.

Он помнил.

Прекрасно помнил.

Но рядом находились ещё трое работников.

Никто не видел, как он вечером уходил.

Можно было молчать.

Конюший решил, что виноват Миша.

Тот самый мальчик, которого когда-то ударил Пётр.

Миша к этому времени был уже крепким подростком.

— Я закрывал! — повторял он. — Я точно закрывал!

— Значит, плохо закрыл!

Евгений смотрел на него.

В животе становилось холодно.

Бабушка подошла позже.

Осмотрела жеребёнка.

Послушала конюшего.

Посмотрела на Мишу.

Потом на Евгения.

Ничего не спросила.

И от этого стало хуже.

— Мишу сегодня к лошадям не подпускать, — сказал конюший.
— Почему? — спросила бабушка.
— Так он же виноват.
— Вы видели?
— Нет, но...
— Тогда пока никто не виноват.
Она повернулась и пошла к дому.
Евгений догнал её на крыльце.
— Бабушка.
— Да?
— Это я.
Она остановилась.
— Что — ты?
— Дверь.
Он смотрел в пол.
— Я вечером последний выходил. Наверное, засов не до конца опустил.
— Наверное?
— Я не опустил.
— Почему сразу не сказал?
— Испугался.
— Чего?
— Ты рассердишься.
— Я и сейчас рассержена.
Евгений вздохнул.
— Значит, зря сказал.
Бабушка неожиданно взяла его за подбородок и подняла голову.
— Нет.
— Но ты же рассержена.
— Я могу сердиться на поступок и уважать человека за то, что он признался.
— И что теперь?
— Будешь помогать ухаживать за жеребёнком, пока не поправится.
— А если не поправится?
— Тогда будешь помнить цену одного плохо закрытого засова.
— И всё?
— А ты хотел порку?
Он немного подумал.
— Нет.
— Тогда не расстраивайся.
Она вошла в дом.
Евгений остался на крыльце.
Потом крикнул ей вслед:
— А Мише скажешь?
— Сам скажешь.
Это оказалось самым неприятным наказанием.

Годы шли.
Евгений рос быстро.
Степь перестала казаться бескрайней, хотя меньше не стала.
Он научился ездить верхом так, что старые конюхи перестали кричать вслед советы.

Научился считать хозяйственные расходы.
Разговаривать с работниками без барского высокомерия.
Понимать, что дворянская фамилия не заставляет лошадь бежать быстрее,
а землю — давать больший урожай.
Бабушка постепенно привлекала его ко всему.
— Это когда-нибудь будет твоей заботой.
— Имение?
— Люди.
— Они не мои.
— Вот поэтому и запомни.
— Что?
— Люди никогда не бывают твоими. Даже если работают на твоей земле.
Он смотрел на неё.
— А земля моя?
— Пока государство, Бог и обстоятельства позволяют тебе так думать.
— Ты всегда всё усложняешь.
— Нет. Это жизнь усложняет. Я только предупреждаю.

К шестнадцати годам он впервые заметил, что бабушка стала ходить медленнее.
До этого старость существовала для него отвлечённо.
Были старики в деревне.
Седые работники.
Пожилой священник.
Но бабушка не могла состариться.
Она была бабушкой всегда.
Однажды зимой они возвращались от соседей.
Дорога шла вверх.
Она остановилась.
— Передохнём.
Евгений посмотрел удивлённо.
— Мы же почти пришли.
— Вот и прекрасно. Значит, отдых будет коротким.
Он впервые услышал, как тяжело она дышит.
— Ты заболела?
— Я старая.
— Это не болезнь.
— Иногда хуже.
— Позвать врача?
— Чтобы сообщил мне мой возраст официально?
— Бабушка.
— Не смотри так. Пока я могу спорить с тобой — всё не настолько плохо.
Но стало плохо.
Весной она дважды не встала к завтраку.
Летом всё чаще сидела в кресле у окна.
Осенью Евгений заметил на столе бумаги.
Много.
Планы земли.
Списки.
Договоры.

Он взял один лист.
Прочитал.
Не понял.
Прочитал снова.
Потом вошёл к бабушке.
— Ты продаёшь имение?
Она не стала притворяться.
— Да.
— Почему?
— Потому что так нужно.
— Кому?
— Тебе.
— Мне не нужно!
— Сядь.
— Я не сяду!
— Тогда стой и кричи. Только дверь закрой, чтобы работники не слушали семейный театр.
Он захлопнул дверь.
— Это дом отца.
— Был.
— Дом матери.
— Был.
— Мой дом!
Бабушка посмотрела на него.
— Нет.
— Что значит «нет»?
— Дом — это не стены, Женя.
— Очень удобно говорить, когда продаёшь чужие стены!
Он сразу понял, что сказал лишнее.
Она побледнела.
Но голос остался спокойным.
— Чужие?
Евгений молчал.
— Я прожила здесь больше, чем ты. Похоронила отсюда своего сына. Потом его жену. Растила тебя. Если хочешь измерять право на память годами — попробуй.
— Я не это хотел...
— Знаю.
Она отвернулась к окну.
— Именно поэтому пока не выставляю тебя за дверь.
Он почти улыбнулся.
Почти.
— Зачем продавать?
— Потому что я не вечна.
— Опять.
— Да. Опять.
— Я сам справлюсь.
— С чем?
— С хозяйством.
— Возможно.

— Тогда зачем?

— Потому что я не хочу, чтобы ты всю жизнь охранял то, что осталось от умерших.

Евгений замолчал.

— Что ты хочешь?

— Чтобы ты жил.

— Здесь тоже живут.

— Ты хочешь быть помещиком?

Он не ответил.

— Хочешь управлять землёй?

Молчание.

— Или хочешь служить?

Евгений поднял глаза.

В семье Капориных служили многие мужчины.

О военной службе говорили без восторга, но с уважением.

— Военное училище? — спросил он.

— Петербург.

Он даже рассмеялся от неожиданности.

— Петербург?

— Именно.

— Ты сошла с ума.

— Возможно. Но документы уже готовятся.

— Я не поеду.

— Поедешь.

— Нет.

— Тогда деньги от продажи потрачу на очень красивые похороны.

— Бабушка!

— Что? Тебе всё равно, что я сделаю со своими деньгами.

— Ты нарочно.

— Конечно.

— Это нечестно.

— Жизнь дала мне слишком мало времени, чтобы спорить с семнадцатилетним мальчиком честными методами.

Он отвернулся.

— Я не хочу тебя оставлять.

Вот теперь она замолчала.

Евгений произнёс тише:

— Вот зачем ты торопишься. Ты думаешь, что умрёшь.

— Все когда-нибудь...

— Не надо.

— Хорошо.

— Ты хочешь, чтобы меня здесь не было, когда это случится.

Она смотрела на него.

— Да.

— Почему?

— Потому что ты уже дважды стоял возле могилы слишком рано.

— А если я хочу быть рядом?

— Я не хочу, чтобы последней памятью обо мне стала болезнь.

— Это не тебе решать.

— Пока я жива — мне.

Он сжал кулаки.
— Я тебя ненавижу.
Бабушка кивнула.
— Хорошо.
— Что хорошо?
— Ненавидеть легче, чем прощаться.
Евгений вышел, хлопнув дверью.
Через час вернулся.
Она всё ещё сидела у окна.
— Я не ненавижу.
— Я знаю.
— И это тоже нечестно.
— Что именно?
— Что ты всё знаешь.
— Не всё.
— Например?
Она посмотрела на него.
— Например, каким человеком ты станешь без меня.

Имение продали частями.
Некоторых работников оставил новый хозяин.
Другие разъехались.
Миша пришёл попрощаться последним.
Они стояли возле конюшни, где когда-то пострадал жеребёнок.
— Значит, в столицу, Евгений Николаевич?
— Не называй меня так.
— А как?
— Женя.
Миша усмехнулся.
— А в Петербурге вас так звать будут?
— Не знаю.
— Тогда пусть хоть здесь.
Они пожали друг другу руки.
Без объятий.
Оба считали себя слишком взрослыми.

Последнюю ночь Евгений почти не спал.
Дом уже не был их домом юридически, но новый хозяин должен был вступить во владение только через несколько дней. Комнаты стояли полупустые. Со стен сняли часть картин. В коридоре эхом отдавались шаги.
Евгений ходил из комнаты в комнату, будто пытался запомнить всё сразу.
Вот здесь отец когда-то учил его держать карандаш.
Здесь мать сидела у окна с книгой.
Здесь он прятался под столом, когда не хотел идти спать.
Вот царапина на косяке — однажды влетел в дверь деревянной саблей и потом три дня уверял, что виновата собака.
Он остановился у комнаты родителей.
После смерти матери туда почти не заходили.
Дверь была открыта.

Бабушка стояла внутри.

— Тоже не спится? — спросил Евгений.

— В моём возрасте это называется привычкой.

Он вошёл.

Комната пахла пылью и старым деревом.

— Ты всё отсюда заберёшь?

— Нет.

— Почему?

— Потому что невозможно унести дом по частям.

Евгений провёл рукой по спинке стула.

— Жалко.

— Да.

Он удивился.

Обычно бабушка на такие слова отвечала чем-нибудь разумным.

— И всё?

— А что ещё?

— Не скажешь, что вещи не важны?

— Важны. Иногда очень. Просто люди важнее.

Она подошла к нему.

— Не пытайся завтра увезти всё это с собой в голове.

— А если забуду?

— Что-нибудь забудешь. Это нормально.

— Я не хочу.

— Тогда живи так, чтобы появлялись новые вещи, которые захочется помнить.

Они ещё немного постояли в пустой комнате.

Потом бабушка погасила лампу.

Прошлое осталось в темноте.

Уезжали ранним утром.

До станции добирались на санях.

Мороз был такой, что лошадиный пар висел облаками.

Бабушка ехала рядом.

Евгений несколько раз просил её остаться дома.

Она каждый раз отвечала:

— Я продала дом. Где мне теперь оставаться?

Он сердился.

Она улыбалась.

На станции было людно.

Чемодан Евгения оказался неожиданно маленьким.

Несколько рубашек.

Книги.

Форма, которую ещё предстояло получить.

Бумаги.

И жизнь, которая не помещалась ни в один багаж.

Когда объявили посадку, он вдруг перестал чувствовать себя семнадцатилетним.

Снова стал тем мальчиком, который стоял возле закрытой двери и спрашивал:

«Он умрёт?»

— Бабушка.

— Да?

— Я могу не ехать.
— Можешь.
Он удивился.
— Правда?
— Конечно.
— И что будет?
— Мы снимем небольшой дом. Ты найдёшь какую-нибудь работу. Потом я умру. И однажды ты поймёшь, что остался здесь не потому, что хотел, а потому, что боялся уехать.
— Ты умеешь всё испортить.
— Стараюсь.
Он посмотрел на поезд.
— Я не знаю, что делать в Петербурге.
— Учиться.
— А если не получится?
— Получится другое.
— А если я останусь один?
Бабушка долго смотрела на него.
Потом взяла за воротник, подтянула ближе и поправила шарф.
Так же, как много лет назад в снегу.
— Когда останешься один, не спрашивай всё время, что сказал бы твой отец. Или мать.
Или я.
— Почему?
— Потому что однажды мужчина должен начать отвечать сам.
— И как понять, что ответ правильный?
— Никак.
— Очень полезный совет.
— Зато честный.
Он улыбнулся.
Она тоже.
Потом сказала:
— Просто поступай так, чтобы тебе не было стыдно, если мы всё-таки это увидим.
Евгений опустил глаза.
— Я буду писать.
— Пиши.
— Каждую неделю.
— Не обещай то, чего не исполнишь.
— Дважды в месяц.
— Уже разумнее.
— Ты тоже пиши.
— Буду.
— И если станет хуже...
— Поезд, Женя.
— Бабушка.
— Иди.
Он обнял её.
Впервые так, будто боялся сломать.
Она оказалась маленькой.
Он почему-то раньше этого не замечал.
— Не умирай, пока я не вернусь.

Она прижалась щекой к его шинели.
— Постараюсь.
— Нет.
Евгений отстранился.
— Не постарайся.
Она узнала собственную интонацию и улыбнулась.
— Хорошо.
Поезд тронулся.
Евгений стоял у окна.
Бабушка осталась на платформе.
Тёмное платье.
Шаль.
Маленькая поднятая рука.
Станция поплыла назад.
Потом её заслонил пар.
Потом она появилась снова.
Совсем далеко.
И исчезла.
Евгений ещё долго смотрел в пустое окно.
Он думал, что уезжает из дома.
На самом деле в тот день дом уезжал вместе с ним.
Только он этого ещё не понимал.
И не знал самого страшного.
Он махал бабушке в последний раз.

ГЛАВА 3

ЧУЖОЕ ИМЯ

Плен.

1916–1917 годы.

— Женя, вставайте.
Он открыл глаза.
Несколько секунд смотрел в темноту и не понимал, к кому обращаются.
Потом услышал снова:
— Женя.
Русский солдат, с которым они шли уже несколько дней, сидел рядом и тряс его за плечо.
Человек без памяти поднялся.
Имя всё ещё казалось чужим.
Не совсем чужим.
Хуже.
Оно будто принадлежало кому-то, кого он когда-то знал очень близко, но теперь не мог вспомнить.
— Чего? — спросил он.
С каждым днём слова возвращались легче.
Солдат улыбнулся.
— Уже почти разговариваете.
— Я и раньше... разговаривал.
— Раньше вы из себя только «не знаю» выдавливали.
— Может, лучше было.
— Это почему?

— Меньше вопросов.
Солдат тихо рассмеялся.
— Вот. И шутки появились. Значит, голова не совсем пропала.
— А имя?
— Что имя?
— Если оно не моё?
Тот пожал плечами.
— Тогда вернёте хозяину.
— Как?
— Когда найдётся.
Человек без памяти посмотрел на него.
Солдат протянул руку.
— Семён Лапшин.
— Что?
— Мы с вами уже который день рядом, а вы моего имени не знаете. Непорядок.
Он пожал протянутую ладонь.
— Семён.
— Правильно.
Семён указал на него.
— А вы пока Женя.
— Пока.
— Хорошее имя.
— Откуда знаете?
— У меня брат Евгений был.
— Был?
Семён помолчал.
— Был.
Больше они об этом не говорили.

Пленных поднимали ещё до рассвета.
Ночевали в каменном сарае, где прежде держали скот. На полу лежала старая солома. За ночь она промокла от грязной одежды и человеческого дыхания.
Людей построили во дворе.
Кто-то кашлял.
Кто-то не мог разогнуть спину.
Старик, которому Женя накануне отдал часть сухаря, стоял, прижимая перевязанную руку к груди.
Турецкий конвоир что-то крикнул.
Колонна двинулась.
Женя шёл рядом с Семёном.
Он уже научился не смотреть далеко вперёд.
Если смотреть на дорогу целиком, становилось страшно.
Лучше видеть несколько шагов.
Камень.
Грязь.
Чужой сапог.
Снова камень.
Так можно было идти часами.
Через некоторое время Семён спросил:

— Сколько вам лет?
Женя молчал.
— Опять не знаете?
— Нет.
— На тридцать похожи.
— А если сорок?
— Тогда хорошо сохранились.
— Спасибо.
— Женаты?
Слово ударило неожиданно.
Женя сбился с шага.
— Что?
— Жена есть?
Он посмотрел на левую руку.
Кольца не было.
На безымянном пальце — тоже ничего.
И всё же внутри возникло странное чувство.
Не образ.
Не имя.
Тепло и боль одновременно.
— Не знаю.
Семён перестал улыбаться.
— Простите.
— За что?
— Не надо было.
— Почему?
— Потому что человеку без памяти, наверное, и так тошно.
Женя некоторое время молчал.
— А у вас?
Семён оживился.
— Жена? Есть. Дарья. И дочка. Машенька. Пять лет.
— Где?
— Под Рязанью.
Он сразу начал рассказывать.
Как дочь боится гусей, но не боится огромного соседского пса.
Как жена умеет сердиться молча, и это гораздо страшнее крика.
Как весной возле дома разливается речка.
Как пахнет хлеб, когда Дарья вытаскивает его из печи.
Женя слушал.
Чем дольше слушал, тем больше чувствовал зависть.
Не к жене Семёна.
Не к дочери.
К тому, что у другого человека прошлое существует целиком.
Есть дом.
Есть лица.
Есть запах хлеба.
Есть место, куда можно мысленно вернуться, даже если тело связано верёвкой и идёт по чужой дороге.
У Жени ничего не было.

Только имя, которое, возможно, тоже было не его.

В полдень колонна остановилась.

Пленным дали воды и немного хлеба.

Раздавали быстро.

Два каравая на несколько десятков человек.

Один из русских, молодой, почти мальчишка, получил свой кусок и спрятал за пазуху.

Другой, широкий в плечах пленный с разбитой губой, заметил.

— Дай сюда.

Мальчишка отступил.

— Моё.

— Все голодные.

— Мне дали.

— А мне мало дали.

Он схватил мальчишку за ворот.

Тот попытался вырваться.

Хлеб выпал в грязь.

Несколько пленных отвернулись.

Никто не хотел неприятностей.

Конвоиры стояли далеко, разговаривали между собой.

Женя тоже мог отвернуться.

Он был голоден.

Слаб.

Голова всё ещё иногда кружилась.

И этот человек был сильнее.

Женя сделал шаг.

— Отпусти.

Голос прозвучал неожиданно твёрдо.

Мужчина обернулся.

— Чего?

— Его отпусти.

— А ты кто?

Женя почти сказал: «Не знаю».

Но промолчал.

Мужчина усмехнулся.

— Офицеришка?

Он отпустил мальчишку и подошёл к Жене.

— Погоны сняли, а привычки остались?

Женя смотрел спокойно.

— Хлеб его.

— Уже ничей.

Мужчина наклонился за куском.

Женя поставил сапог на хлеб.

— Не трогай.

— Убери ногу.

— Отойди.

Удар пришёл быстро.

Женя не успел закрыться.

Кулак попал в скулу.

Он пошатнулся.
Семён рванулся вперёд.
— Эй!
Женя поднял руку, останавливая.
— Не надо.
Мужчина снова ударил.
На этот раз Женя уклонился почти автоматически.
Сам удивился.
Ноги переставились правильно.
Корпус ушёл в сторону.
Ладонь перехватила чужое запястье.
Движение было быстрым и точным.
Офицерским?
Он не знал.
Мужчина дёрнулся.
Женя вывернул руку, заставил его опуститься на колено.
Несколько пленных ахнули.
— Отпусти! — заорал тот.
Женя мог сломать руку.
Почему-то знал это совершенно точно.
Достаточно было ещё немного повернуть.
Он остановился.
Отпустил.
Мужчина вскочил.
В этот момент прибежали конвоиры.
Один ударил Женю прикладом в спину.
Он упал.
Мальчишка попытался что-то объяснить.
Никто не слушал.
Турецкий солдат с плетью подошёл медленно.
Тот самый.
Посмотрел на Женю.
Потом на второго пленного.
Потом на хлеб в грязи.
— Ты, — сказал по-русски.
Женя поднял голову.
— Драться?
— Он отнял хлеб.
Турок не понял.
— Хлеб.
Женя показал на мальчишку.
Потом на мужчину.
— Взял.
Турок посмотрел на мальчишку.
Тот быстро закивал.
Конвоир вздохнул.
— Русские.
Произнёс это так, будто одного слова было достаточно для объяснения всех человеческих глупостей.

Потом указал на Женю.
— Встать.
Он поднялся.
— Ты офицер?
Женя замер.
— Был.
Это слово вышло раньше мысли.
Турок прищурился.
— Помнишь?
Женя испугался.
— Нет.
— Тогда откуда «был»?
Он не знал.
Конвоир усмехнулся.
— Голова пусто. Тело помнит.
Он хлопнул себя ладонью по плечу.
— Марш.
Наказания не последовало.
Женя подобрал хлеб из грязи.
Отряхнул.
Протянул мальчишке.
— Ешь.
Тот смотрел на него с потрясением.
— Спасибо, ваше благородие.
— Не называй меня так.
— А как?
Женя запнулся.
— Женя.
Это был первый раз, когда он сам назвал это имя вслух.

Вечером Семён долго рассматривал его.
— Что?
— Ничего.
— Смотришь.
— Вы точно офицер.
— Почему?
— Потому что нормальный человек за чужой хлеб два раза по морде не получает.
Женя улыбнулся.
— Очень убедительно.
— А ещё вы его положили красиво.
— Кого?
— Того громилу.
— Не помню, как.
— Вот и я про то. Голова не помнит. Руки помнят.
Женя посмотрел на ладони.
Это повторялось.
Ноги знали, как идти строевым шагом.
Спина сама выпрямлялась при команде.
Руки знали, как перехватить чужое запястье.

Он различал русские знаки различия.
Иногда понимал военные термины, прежде чем успевал подумать.
Тело было архивом, к которому разум потерял ключ.
— Семён.
— А?
— А если я был плохим человеком?
Семён повернул голову.
— С чего вы взяли?
— Не знаю.
— Опять прекрасный ответ.
— Я серьёзно.
— И я.
Семён немного подумал.
— Плохой человек чужой хлеб не возвращает.
— Может, я раньше был другим.
— Тогда считайте, что контузия пошла на пользу.
Женя тихо рассмеялся.
Это был первый настоящий смех после поля мёртвых.

Через несколько дней пленных повели дальше.
Куда — никто не знал.
Слухи менялись каждый час.
Одни говорили, что их отправят работать.
Другие — что обменяют.
Третьи уверяли, что всех русских офицеров расстреляют.
Женя перестал слушать.
Дорога была реальнее слухов.
Однажды они остановились возле железнодорожных путей.
Где-то вдали свистнул паровоз.
Семён сказал:
— Совсем как под Петербургом.
Слово ударило сильнее приклада.
Петербург.
Женя остановился.
Перед глазами возник свет.
Не поле.
Не обоз.
Фонарь.
Мокрая мостовая.
Высокий фасад.
Чемодан в руке.
И холод, совсем другой, городской.
— Женя?
Он не слышал Семёна.
Мир вокруг исчез.

Санкт-Петербург.
1897 год.
Город встретил его дождём.

Евгений стоял у выхода со станции с чемоданом и пытался не показывать, насколько растерян.

Петербург оказался не красивым.

Слишком огромным, чтобы сразу быть красивым.

Каменным.

Шумным.

Мокрым.

Люди спешили, не глядя друг на друга. Экипажи разбрызгивали грязь. Над крышами висело серое небо.

После степи здесь не хватало горизонта.

Евгению казалось, что дома стоят слишком близко и город нарочно не даёт человеку увидеть, где заканчивается земля.

Он несколько раз проверил бумагу с адресом.

Потом поймал извозчика.

— В училище?

Тот посмотрел на чемодан.

— Новенький?

— Да.

— Сразу видно.

— Почему?

— На дома смотрите.

Евгений перестал смотреть.

Извозчик засмеялся.

— Да смотрите, смотрите. Через месяц надоест.

Военное училище не оставило времени скучать по дому.

Подъём.

Умывание.

Строй.

Занятия.

Устав.

Физическая подготовка.

Снова строй.

Вечером Евгений падал на койку и иногда не успевал закончить письмо бабушке.

Первые недели он чувствовал себя провинциалом.

Не потому, что говорил иначе.

Потому что остальные будто знали правила этого мира заранее.

Кто кому должен уступить дорогу.

Как правильно завязать пояс.

Когда можно пошутить при старшем.

Как быстро привести форму в порядок.

Где достать горячий чай после отбоя.

Евгений учился.

Он всегда учился быстро, если понимал смысл.

С бессмысленным было сложнее.

Однажды старший воспитанник заставил новичка десять раз перестилать койку только потому, что тот ему не понравился.

Евгений наблюдал.

На одиннадцатый раз подошёл.

— Достаточно.

Старший повернулся.

— Что?

— Он сделал как требуется.

— Тебя спросили?

— Нет.

— Тогда молчи.

Евгений вспомнил бабушку.

«Если человек делает зло и ты хочешь, чтобы ему стало больно — это месть. Если хочешь остановить — справедливость».

Он не стал драться.

Просто ещё раз сказал:

— Достаточно.

Вечером получил наряд за нарушение порядка.

Новичок потом подошёл.

— Зачем вы полезли?

Евгений пожал плечами.

— Не знаю.

— Вам же хуже.

— Видимо.

— Спасибо.

— Не за что.

Тогда он ещё помнил, почему поступает именно так.

Через девятнадцать лет помнить перестанет.

Поступать — нет.

Письма из дома приходили регулярно.

Бабушка писала крупным, уверенным почерком.

О хозяйстве.

О знакомых.

О том, что Миша наконец жениться собирается, но «пока сам об этом знает меньше всех».

О погоде.

Почти ничего — о здоровье.

Евгений замечал это.

В каждом ответе спрашивал:

«Как ты?»

Она отвечала:

«Старая, вредная, живая».

До одного письма.

Оно пришло позже обычного.

Конверт был другим.

Почерк незнакомый.

Евгений увидел это ещё до того, как открыл.

Сердце провалилось.

Он долго держал письмо в руках.

Потом разорвал край.

Прочитал первую строку.

Потом вторую.

Дальше не смог.

Слово «скончалась» было написано аккуратно.
Чернила не знали, что это слово делает с человеком.
Он сел на койку.
В комнате шумели другие воспитанники.
Кто-то спорил.
Кто-то чистил сапоги.
Кто-то смеялся.
Евгений снова посмотрел на письмо.
Бабушка умерла несколько недель назад.
Пока письмо шло через огромную империю, её уже похоронили.
Возможно, уже выпал новый снег.
Возможно, кто-то прошёл возле могилы и не знал, кем была женщина под этой землёй.
Он не успел.
И не мог успеть.
Возвращаться было некуда.
Имение продано.
Родители умерли.
Бабушки нет.
Дом закончился.
В этот день Евгений впервые понял, что слово «сирота» не относится только к детям.
Иногда человек становится сиротой в семнадцать.
Иногда — в сорок.
Иногда — после смерти последнего человека, который помнил тебя маленьким.
Он всё-таки пошёл к начальнику курса.

Постучал.

— Войдите.

За столом сидел сухощавый капитан с аккуратно подстриженными усами. Евгений видел его десятки раз на занятиях и всегда считал человеком, которому легче объяснить ошибку на карте, чем человеческое горе.

— Капорин?

— Так точно.

— Что у вас?

Евгений положил письмо на стол.

Капитан прочитал несколько строк.

Поднял глаза.

— Бабушка?

— Да.

— Соболезную.

— Благодарю.

— Хотите просить отпуск?

Евгений открыл рот.

Именно за этим пришёл.

Наверное.

— Не знаю.

Капитан удивился.

— Что значит «не знаю»?

— Её уже похоронили.

— Понимаю.

— Имение продано.

— Да.

— Дом теперь чужой.

Капитан отложил письмо.

— И?

Евгений впервые позволил себе сказать это вслух:

— Мне некуда ехать.

В кабинете стало тихо.

Капитан снял очки.

— Капорин, отпуск дают не дому. Человеку.

— А что я буду там делать?

— Прощаться.

— С могилой?

— Иногда другого не остаётся.

Евгений смотрел на письмо.

— Она сама отправила меня сюда, чтобы я не возвращался.

— Она так написала?

— Нет.

— Тогда это вы решили за неё.

Евгений поднял глаза.

— Вы дадите отпуск?

— Дам.

— Даже сейчас?

— Даже сейчас.

Он молчал.

Потом медленно забрал письмо со стола.

— Я останусь.

— Уверены?

— Нет.

Капитан почти улыбнулся.

— Сегодня у вас богатый словарь.

Евгений тоже едва заметно усмехнулся.

— Разрешите идти?

— Идите.

Уже у двери капитан сказал:

— Капорин.

Евгений обернулся.

— Не надо стыдиться, если ночью станет плохо.

— Мне не станет.

— Вот этого я и боялся.

Евгений ничего не ответил.

Вечером он впервые вышел в город один.

Шёл без цели.

Петербург был мокрым и холодным. Свет фонарей растекался по мостовой. За окнами домов двигались тени. Где-то семья ужинала. В другом окне женщина поправляла занавеску. Мальчик прижимался лбом к стеклу и смотрел на улицу.

Евгений остановился.

Мальчик увидел его.

Показал что-то кому-то внутри.

К окну подошёл мужчина. Положил ребёнку руку на плечо.

Евгений отвернулся.

Он вдруг понял, что завидует совершенно незнакомым людям только потому, что они находятся в одной комнате.

В кармане лежало письмо о смерти бабушки.

В училище ждала койка.

А между ними был огромный город, которому не было никакого дела до семнадцатилетнего сироты.

Он дошёл до набережной.

Вода была чёрной.

Ветер бил в лицо.

Евгений достал письмо.

На секунду захотел выбросить его в реку.

Чтобы не носить смерть с собой.

Потом вспомнил бабушкин голос:

«Память не лежит в ложке».

Почему именно эта фраза пришла сейчас — не понял.

Сложил письмо обратно.

— Хорошо, — сказал вслух неизвестно кому. — Буду жить.

Никто не ответил.

Но впервые после получения письма он почувствовал, что это не обещание умершим.

Это приказ самому себе.

Утром был обычный строй.

Евгений почти не спал.

Письмо лежало во внутреннем кармане.

Старший называл фамилии.

Один за другим отвечали:

— Я!

— Я!

— Я!

Евгений смотрел прямо перед собой.

— Капорин!

Он вздрогнул.

Потом ответил:

— Я!

Голос прозвучал твёрдо.

В тот момент фамилия была единственным домом, который у него остался.

— Женя!

Он открыл глаза.

Петербург исчез.

Перед ним стоял Семён.

Железнодорожные пути.

Пленные.

Конвой.

Грязь.

— Вы чего?

Женя тяжело дышал.

— Я...

— Вспомнили?
Он попытался удержать картину.
Фасад училища.
Чужой почерк.
Строй.
Какое-то слово.
Ка-по...
Исчезло.
— Нет.
— Совсем?
Женя закрыл глаза.
— Город.
— Какой?
— Большой.
— Петербург?
Внутри снова дрогнуло.
— Может быть.
Семён улыбнулся.
— Уже что-то.
Женя посмотрел на него.
— Там кто-то умер.
— Кто?
— Не знаю.
— Родной?
Он медленно кивнул.
— Очень.
Это было всё, что память позволила ему оставить.

Зимой Семён заболел.
Сначала просто кашлял.
Потом началась лихорадка.
Пленных к тому времени держали в временном лагере. Людей было много. Места мало.
Болезнь переходила от одного к другому быстрее слухов.
Семён два дня пытался ходить вместе со всеми.
На третий не встал.
Женя принёс ему воду.
— Не надо, — сказал Семён.
— Пей.
— Самому мало.
— Пей.
— Командуете опять.
— Да.
Семён улыбнулся.
— Точно офицер.
Женя поднёс кружку к его губам.
Вечером стало хуже.
Ночью Семён бредил.
Звал Дарью.
Потом Машеньку.

Просил кого-то закрыть ворота.
Говорил, что гуси опять во дворе.
Женя сидел рядом.
Держал его за руку.
И слушал чужое прошлое.
Под утро Семён открыл глаза вполне ясно.

— Женя.

— Я здесь.

— Если выберетесь...

— Выберемся.

— Не перебивайте.

Женя замолчал.

— Если выберетесь, домой идите.

— Куда?

Семён с трудом улыбнулся.

— Вот дурной вопрос.

— Я не знаю, где дом.

— Тогда найдите.

— Как?

— Не знаю.

Женя невольно усмехнулся.

— Прекрасный ответ.

— У вас научился.

Они молчали.

Потом Семён сказал:

— А имя всё-таки ваше.

— Почему?

— Потому что вы на него оборачиваетесь.

— Можно привыкнуть к любому.

— Нет.

— Откуда знаете?

Семён закрыл глаза.

— Не знаю.

Это были почти последние его слова.

К утру он умер.

Женя сидел рядом ещё долго.

Потом пришёл надзиратель.

Показал на тело.

Сказал что-то.

Женя не понял слов, но понял смысл.

Надо вынести.

Он сам поднял Семёна.

Тот оказался неожиданно лёгким.

Человек, который носил в себе целый дом, жену, дочь, речку, печь, гусей и запах хлеба,
теперь весил меньше мешка зерна.

Женя вынес его во двор.

Положил рядом с другими умершими.

На секунду задержал руку на плече.

— Семён.
Никто не ответил.
Он вдруг понял, что теперь знает о погибшем больше, чем о себе.
Знает имя жены.
Имя дочери.
Знает, откуда он.
Знает, чего боялась маленькая Машенька.
А о себе — почти ничего.
Эта несправедливость показалась чудовищной.
Женя вернулся в барак.
В углу лежал маленький кусок ткани, которым Семён обматывал шею.
Он поднял.
Потом положил обратно.
Чужое брать нельзя.
Откуда пришла эта мысль?
Не знал.
Но рука сама разжалась.
Через час он вернулся к этому месту снова.
Ткань уже забрал кто-то другой.
Женя неожиданно рассердился.
Не потому, что хотел вещь себе.
Потому что человеку не оставили даже маленького кусочка собственного присутствия.
Он сел у стены и начал повторять шёпотом:
— Семён Лапшин. Дарья. Машенька. Под Рязанью.
Потом ещё раз.
— Семён Лапшин. Дарья. Машенька. Пять лет. Бойтся гусей. Не боится собаки.
Старик с перевязанной рукой посмотрел на него.
— Ты чего?
— Запоминаю.
— Зачем?
Женя задумался.
— Если я выйду.
— И что?
— Надо сказать им.
— Кому?
— Жене. Дочери.
Старик покачал головой.
— До Рязани ещё дожить надо.
— Надо.
— А свою-то семью вспомнил?
Женя молчал.
— Вот то-то. Чужих помнит, своих нет.
— Поэтому и запоминаю.
— Не понял.
Женя посмотрел на него.
— Потому что если я забуду и его, тогда кто вообще скажет, что он был?
Старик ничего не ответил.
Ночью Женя снова повторял имена про себя.

Странная вещь: собственная жизнь оставалась белой стеной, а чужая биография уже помещалась в нескольких точных словах.

Семён.

Дарья.

Машенька.

Рязань.

Хлеб из печи.

Гуси.

Большой соседский пёс.

Он цеплялся за эти детали так, будто сохранял не Семёна, а доказательство того, что память вообще существует.

Если можно удержать чужой дом, значит, когда-нибудь, возможно, вернётся и свой.

Через несколько дней пленных снова построили.

Надзиратель ходил вдоль шеренги и записывал что-то в список.

Возле Жени остановился.

— Имя?

Раньше этот вопрос открывал пустоту.

Теперь пустота осталась.

Но в ней уже лежало одно слово.

Он помолчал.

Потом сказал:

— Евгений.

Надзиратель записал.

— Фамилия?

Дверь внутри снова была закрыта.

Женя покачал головой.

— Нет.

— Нет фамилия?

— Не помню.

Тот пожал плечами и что-то написал.

Женя попытался заглянуть в список.

В строке напротив него стояло несколько чужих букв.

Он не мог прочитать.

Но вдруг понял, что где-то на бумаге теперь существует новый человек: Евгений без фамилии.

Не сын.

Не муж.

Не офицер такого-то полка.

Просто пленный, которому для учёта понадобилось имя.

Странно, но это не унизило его.

Наоборот.

После недель, когда каждый вопрос «кто ты?» превращался в пытку, одно слово стало маленькой опорой.

Он ещё не знал, что много лет спустя будет заново собирать себя из случайных звуков, лиц и запахов. Что одно имя окажется только первой доской моста через огромную пустоту.

Сейчас достаточно было этой доски.

Евгений.

Он повторил про себя.

На этот раз слово не причинило боли.
Только отозвалось где-то далеко.
Будто за закрытой дверью кто-то услышал его и тоже замер.
Колонна двинулась.
Женя пошёл вместе со всеми.
У него по-прежнему не было прошлого.
Не было дома.
Не было фамилии.
Он не знал, жива ли женщина, чьё лицо иногда появлялось возле окна.
Не знал, кем была старуха, смерть которой болела в памяти без имени.
Не знал, почему слово «Петербург» заставляет сердце биться быстрее.
Но теперь он мог ответить хотя бы на один вопрос.
— Кто ты?

Евгений.

Возможно, это имя было его.

Возможно, пока только спасало от полного небытия.

Он ещё не мог сказать: «Я — Евгений Капорин».

Фамилия лежала где-то по ту сторону памяти. Там же были бабушка, Петербург, офицерское училище и женщина у окна.

Но впервые дорога назад перестала казаться совсем невозможной.

Этого было достаточно.

Потому что человек без фамилии всё ещё оставался человеком.

А человек, который однажды вспомнил хотя бы имя, уже мог начать дорогу обратно к себе.

ГЛАВА 4

ЮЛИЯ

Плен.

1917 год.

Утро началось с чужого женского голоса.

Евгений не видел говорившую. Голос доносился из соседней комнаты, за тонкой стеной старого постоянного двора, куда на ночь загнали часть пленных. Женщина говорила на языке, которого он не понимал, быстро и раздражённо. Кто-то отвечал ей вполголоса. Звенела посуда. Потом хлопнула дверь.

Ничего необычного.

И всё же Евгений лежал на соломе, не открывая глаз.

Внутри что-то дрогнуло.

Не слово.

Не лицо.

Интонация.

Так когда-то кто-то произносил его имя — чуть насмешливо, чуть мягче, чем требовали приличия.

«Евгений Николаевич...»

Он резко сел.

Рядом застонал старик, которому Евгений помогал последние дни.

— Чего вскочили?

Евгений приложил пальцы к вискам.

— Ничего.

Но это было неправдой.

В памяти стояло окно.
Высокое.
Петербургское.
И женщина возле него.
На этот раз лицо не исчезло сразу.
Он видел тёмные волосы, собранные на затылке. Узкую шею. Светлое платье. Руку на оконной ручке.

Женщина обернулась.

И улыбнулась.

— Евгений Николаевич, вы всегда так серьёзны?

Мир качнулся.

Евгений зажмурился.

Когда открыл глаза, перед ним снова была грязная стена.

Но теперь у женщины появилось имя.

Не целиком.

Только первая буква.

Ю...

Он повторил её про себя, боясь спугнуть.

Ю...

И вдруг запах сырой соломы сменился запахом мокрого камня, кофе и духов.

Петербург вернулся.

Санкт-Петербург.

1900 год.

После окончания училища Евгений ожидал, что жизнь станет проще.

Ему казалось: стоит получить офицерский чин, надеть форму уже не воспитанника, а настоящего армейского офицера — и мир наконец объяснит, что делать дальше.

Мир не объяснил.

Просто перестал будить его трубой.

Теперь вставать приходилось самому.

Служба оказалась не романом о войне и чести, а бесконечным рядом обязанностей: бумаги, занятия с нижними чинами, проверки, караулы, отчёты, строевая подготовка, замечания старших и необходимость отвечать за чужие ошибки так, будто совершил их лично.

Евгению это даже нравилось.

В обязанности он верил больше, чем в вдохновение.

С людьми было сложнее.

В училище все существовали по понятным правилам. На службе правил становилось больше, но ясности — меньше. Один поручик мог быть прекрасным строевиком и подлецом. Другой — слабым командиром и добрым человеком. Третий говорил о чести так часто, что Евгений начинал подозревать её отсутствие.

Сам он держался немного в стороне.

Не из гордости.

Просто не умел быстро становиться своим.

В начале декабря товарищ по службе, подпоручик Мельников, поймал его после занятий.

— Капорин, в субботу свободны?

— Пока да.

— Уже нет.

— Это приказ?

— Хуже. Приглашение.

— Тогда откажусь.

— Нельзя.

— Почему?

— Потому что моя кухня собирает людей у Немчиных. Будет музыка, чай и половина Петербурга, которая считает себя умнее второй половины.

Евгений застегнул перчатку.

— Звучит как угроза.

— Вы слишком долго живёте казармой.

— Казарма честнее гостиной.

— Именно поэтому вам туда и надо. Научитесь лгать с приятным выражением лица.

— Не хочу.

Мельников вздохнул.

— Там будут девушки.

— Теперь точно не пойду.

— Капорин, вам двадцать лет, а разговариваете как вдовец с тремя детьми.

— У вдовца хотя бы есть опыт.

— Всё. В субботу в семь. Я за вами заеду.

— Я не обещал.

— Ваше молчание засчитано как согласие.

— Очень удобная система.

— Пользуйтесь.

Дом Немчиных Евгений запомнил с первого раза.

Не потому, что он был особенно роскошным.

В Петербурге хватало домов богаче.

Его поразило другое: там жили.

Не существовали по правилам.

Не демонстрировали благополучие.

Жили.

В передней стояли детские мокрые ботинки. Где-то наверху кто-то громко рассмеялся. Из столовой доносился запах пирога. На маленьком столике лежала забытая перчатка, рядом — раскрытая книга и несколько карандашей.

Евгений задержался на пороге.

Слуга принял шинель.

— Прошу, сударь.

Мельников шепнул:

— Только не стойте с таким лицом. Вас подумают арестовывать хозяина пришли.

— Я всегда так выгляжу.

— Вот это и страшно.

В гостиной было человек пятнадцать.

Мужчины говорили о политике, хотя никто не собирался ничего менять. Женщины обсуждали театр, знакомых и погоду. У рояля сидела молодая девушка и перебирала ноты.

Хозяин дома, Афанасий Михайлович Немчин, встретил гостей спокойно, без той преувеличенной любезности, которая всегда заставляла Евгения настораживаться.

— Мельников. Рад.

— Афанасий Михайлович. Позвольте представить: Евгений Николаевич Капорин.

Хозяин пожал руку.

— Военный?

— Так точно.

— Здесь можно без «так точно». Пока Россия не объявила мобилизацию против моего самовара.

Мельников рассмеялся.

Евгений тоже улыбнулся.

— Постараюсь.

— Вот и договорились.

К ним подошла Анна Сергеевна — жена хозяина. Представилась просто, будто Евгений был знакомым давних лет.

— Вы впервые у нас?

— Да.

— Тогда предупреждаю: Афанасий Михайлович любит задавать молодым офицерам вопросы о будущем России.

— Анна, — сказал хозяин.

— Что? Я спасаю человека.

— От меня?

— От длинного разговора после ужина.

— Благодарю, — серьёзно сказал Евгений.

Афанасий Михайлович посмотрел на него и хмыкнул.

— Этот, кажется, выживет.

Евгений ещё не знал, что через несколько лет будет входить в этот дом без приглашения.

Пока он был чужим.

И именно в этот момент у окна стояла Юлия.

Он увидел её не сразу.

Сначала слышал:

— Папа, не пугай гостя.

Евгений обернулся.

Девушка держала в руках тонкую книгу. Тёмные волосы были собраны высоко, но несколько прядей выбились возле виска. В её лице не было той нарочитой хрупкости, которую он часто видел у молодых барышень. Она смотрела прямо.

Не вызываяще.

Просто без страха.

— Я никого не пугаю, — сказал Афанасий Михайлович.

— Тогда почему господин Капорин уже ищет глазами выход?

Евгений действительно посмотрел в сторону двери.

Мельников подавился смехом.

— Юлия Афанасьевна, вы наблюдательны.

— Это дурная привычка.

— Юля, — сказала Анна Сергеевна, — познакомьтесь как следует.

Девушка сделала лёгкий реверанс.

— Юлия Афанасьевна Немчин.

— Евгений Николаевич Капорин.

— Я слышала.

— Тогда половина знакомства уже состоялась.

Юлия подняла брови.

— А вы умеете шутить.

— Иногда.

— А выглядите так, будто это запрещено уставом.

Евгений впервые за вечер рассмеялся по-настоящему.

И сам удивился.

Через час он уже жалел, что пришёл.

Не из-за Юлии.

Из-за остальных.

Один молодой чиновник рассказывал, как легко управлять людьми, если «держат низшие классы в должной строгости». Говорил уверенно, громко и явно наслаждался собственными формулировками.

Евгений слушал несколько минут.

Потом спросил:

— Вам приходилось командовать хотя бы десятью людьми?

Чиновник замолчал.

— Это к чему?

— Просто интересно.

— Я служу по гражданской части.

— Понимаю.

— И что?

— Ничего. Продолжайте. Особенно про строгость.

В гостиной стало тише.

Мельников закрыл лицо ладонью.

Юлия отвернулась к окну, но Евгений заметил улыбку.

Чиновник покраснел.

— Вы хотите сказать, что я не понимаю предмета?

— Я хочу сказать, что человек, отвечавший за других хотя бы один день, обычно осторожнее говорит о том, как ими легко управлять.

— Военные всегда считают себя специалистами во всём.

— Нет. Поэтому я и не рассуждаю о вашей службе.

Афанасий Михайлович кашлянул.

— Господа, чай остывает быстрее государственных споров.

Разговор сменили.

Евгений почувствовал себя неловко.

Он подошёл к окну.

Через минуту рядом появилась Юлия.

— Вы его обидели.

— Знаю.

— Нарочно?

— Сначала нет.

— А потом?

— Немного.

— Значит, не святой.

— Вы ожидали?

— От человека с таким лицом — чего угодно.

Он посмотрел на неё.

— У меня опять лицо?

— Опять.

— Что с ним не так?

Юлия сделала вид, что внимательно изучает.

— Будто вы всё время решаете, стоит ли окружающий мир вашего участия.

— И каков вывод?

— Пока не решили.

— Может, я просто плохо себя чувствую в гостиных.

— А где хорошо?

Он хотел ответить: «дома».

И вдруг понял, что дома у него нет.

Замешкался.

Юлия заметила.

— Простите.

— За что?

— Не знаю. Но кажется, спросила лишнее.

— Нет.

— Тогда где?

Евгений посмотрел на снег за окном.

— В степи.

— Вы оттуда?

— Семипалатинская область.

— Правда?

В её голосе не было ни насмешки, ни снисхождения.

— Далеко.

— Очень.

— Я никогда не была дальше Москвы.

— И не жалеете.

— Почему?

— Потому что после степи Петербург кажется шкафом.

Юлия рассмеялась.

— Теперь я точно хочу увидеть вашу степь.

Евгений ответил слишком быстро:

— Её больше нет.

Она перестала улыбаться.

— Простите.

— Не надо. Степь есть. Моего дома там нет.

Он сам не понял, почему сказал это почти незнакомой девушке.

Наверное, потому что она не задавала следующий вопрос.

Просто встала рядом.

Иногда именно молчание делает человека близким раньше времени.

После того вечера он решил больше к Немчиным не ходить.

Через неделю пришёл снова.

За тем первым визитом последовал ещё один, потом третий.

Очень скоро Евгений узнал, что у дома Немчиных есть собственный ритм.

Афанасий Михайлович возвращался к ужину почти минута в минуту и терпеть не мог, когда суп подавали остывшим. Анна Сергеевна могла одновременно разговаривать с гостем, проверять уроки младшей дочери и давать распоряжение кухарке, не повышая голоса. А младшая, Маша, была ещё гимназисткой и смотрела на Евгения с тем беспощадным интересом, каким дети рассматривают людей, пытающихся казаться взрослыми.

В один из вечеров она спросила за столом:

— Евгений Николаевич, вы убивали людей?

Анна Сергеевна уронила вилку.

— Мария!

— Что? Он военный.

Афанасий Михайлович кашлянул в кулак, скрывая улыбку.

Юлия покраснела.

Евгений посмотрел на девочку.

— Нет.

— А придётся?

— Возможно.

— И вам не страшно?

Теперь за столом стало совсем тихо.

Евгений хотел отшутиться, но не смог.

— Страшно.

Маша удивилась.

— Военным тоже?

— Особенно тем, кто понимает, что такое война.

Афанасий Михайлович посмотрел на него внимательно.

— Вот, Маша. Получила ответ. Теперь ешь.

Девочка послушно взялась за ложку, но через несколько секунд добавила:

— А я думала, офицеры ничего не боятся.

— Тогда из них получились бы очень опасные люди, — сказал Евгений.

После ужина Юлия догнала его в коридоре.

— Спасибо.

— За что?

— Что не стали смеяться над Машей.

— Она спросила серьёзно.

— Взрослые часто смеются именно тогда, когда дети спрашивают серьёзно.

— Потому что не знают ответа.

Юлия посмотрела на него.

— Вы часто признаётесь, что вам страшно?

— Сегодня впервые.

— Мне нравится.

— Что я боюсь?

— Что вы не изображаете бесстрашного.

Он хотел сказать что-нибудь лёгкое, но вместо этого спросил:

— А вы чего боитесь?

Юлия задумалась.

— Остаться жить не своей жизнью.

— Это как?

— Делать всё правильно и однажды понять, что ни одного решения не приняла сама.

Евгений запомнил эту фразу.

Позже, когда Афанасий Михайлович скажет, что дочь сама решит, за кого ей выходить замуж, он поймёт, откуда в Юлии эта внутренняя свобода.

Тогда же он только ответил:

— Вы не похожи на человека, которому легко навязать решение.

— Не льстите.

— Я не умею.

— Это вы тоже говорите как достоинство.

— Нет. Иногда очень мешает.

— Например?

— Сейчас.

Юлия улыбнулась.

— Значит, учитесь.

На этот раз без Мельникова.

Формальным поводом была книга, которую Афанасий Михайлович обещал дать ему почитать.

Книга существовала.

Но Евгений почти о ней забыл.

Дверь открыла Юлия.

Не слуга.

— Евгений Николаевич?

Она удивилась.

И почему-то именно её удивление его обрадовало.

— Афанасий Михайлович дома?

— Папа ещё не вернулся.

— Тогда я зайду в другой раз.

— А книга?

— Какая?

Юлия посмотрела внимательно.

Евгений понял ошибку.

— Та книга.

— Конечно.

— Я помню.

— Уже вижу.

Он хотел провалиться сквозь крыльцо.

Юлия рассмеялась.

— Заходите. Мама дома.

В тот вечер они впервые разговаривали долго.

О книгах.

О музыке.

О Петербурге.

О том, почему Евгений не любит говорить о себе.

— Потому что там мало интересного.

— Человек, приехавший из Семипалатинска, потерявший дом и ставший офицером, считает себя неинтересным?

— Вы слишком красиво формулируете.

— А как некрасиво?

— Сирота. Денег немного. Родных нет. Служу.

Юлия помолчала.

— Вот теперь действительно скучно.

Он усмехнулся.

— Я предупреждал.

— Нет. Вы просто умеете превращать жизнь в военный рапорт.

— Это удобно.

— Для кого?

Евгений не ответил.

Вошла Анна Сергеевна с чаем.

И разговор закончился.

Но вопрос остался.

Весной они начали гулять.

Сначала обязательно с кем-нибудь из семьи.

Однажды в марте Юлия уговорила его пойти на каток.

— Я не умею.

— Прекрасно.

— Что прекрасного?

— Хотя в чём-то я буду лучше вас.

— Вы и так уверены, что лучше меня во всём.

— Уверенность и доказательство — разные вещи.

На льду выяснилось, что Евгений действительно не умеет.

Первые несколько минут он держался с таким достоинством, будто плохое катание было сознательным выбором офицера.

Потом упал.

Юлия засмеялась.

— Не помогайте, — предупредил он.

— Почему?

— Хочу сохранить остатки чести.

— Лёжа на льду?

— Именно.

Он поднялся сам.

Через круг упал снова.

На третий раз уже смеялся вместе с ней.

Этот вечер запомнился Евгению потому, что впервые за много лет он перестал следить за собой.

Не думал, правильно ли держится.

Не вспоминал, как должен вести себя офицер.

Не сравнивал настоящее с домом, которого больше нет.

Просто падал, вставал и слышал смех Юлии.

После катка они возвращались пешком.

Снег был мокрым. На фонарях таяли крупные хлопья.

— Если нас увидит папа, — сказала Юлия, — решит, что я вас мучаю.

— Так и есть.

— Можете пожаловаться.

— Не стану.

— Почему?

— Боюсь, запретит мучить дальше.

Она остановилась.

Евгений тоже.

Они стояли слишком близко.

Ни один не отступил.

На лице Юлии оставалась улыбка, но глаза стали серьёзными.

Евгений впервые захотел её поцеловать.

И впервые за долгое время не знал, что делать.

Он привык считать нерешительность недостатком.

Теперь был благодарен ей.

Потому что ещё секунда — и он, вероятно, нарушил бы все правила приличия разом.

Юлия тихо спросила:

— Что?

— Ничего.

— Опять ваше любимое слово.

— Нет. Любимое у меня «не знаю».

— Это я уже заметила.

Они пошли дальше.

Только у ворот дома Юлия вдруг сказала:

— В следующий раз можете не спрашивать разрешения глазами так долго.

Евгений замер.

Она уже поднималась по ступеням.

— На что?

Юлия обернулась.

— Доброй ночи, Евгений Николаевич.

И вошла в дом.

Следующие три дня он был уверен, что неправильно понял.

На четвёртый понял, что понял правильно.

И всё равно боялся проверить.

Потом обстоятельства иногда оставляли их вдвоём на несколько минут.

Евгений не торопился.

Юлия тоже.

Между ними не было внезапной страсти, о которой пишут в дешёвых романах.

Было другое.

Он привык искать её взгляд, входя в комнату.

Она запоминала, когда у него дежурство.

Он приносил книги, которые, как ему казалось, ей понравятся.

Она возвращала их с записками на полях карандашом, чем сначала возмутила его до глубины души.

— Нельзя писать в книгах.

— Почему?

— Потому что книга не ваша.

— Вы сами мне её дали.

— Почитать.

— Я и читала.

— А это?

Он показал страницу.

На полях было написано: «Автор здесь совершенно неправ».

— Это разговор с автором.

— Он вам не ответит.

— Зато вы ответили.

Евгений замер.

Юлия улыбнулась.

— Значит, заметка сработала.

После этого он стал иногда специально оставлять ей книги с местами, которые хотелось обсудить.

До разговора с Афанасием Михайловичем был ещё один вечер, когда сама Юлия впервые заговорила о будущем.

В доме почти никого не было. Анна Сергеевна уехала с Машей к родственникам, Афанасий Михайлович задерживался. Юлия сидела у рояля и тихо перебирала клавиши.

— Вы всегда будете служить? — спросила она.

— Пока государство не решит, что я ему больше не нужен.

— А если отправят далеко?

— Поеду.
— На Кавказ?
— Поеду.
— В Сибирь?
— Я из тех краёв. Меня не напугаете.
— На войну?

Евгений замолчал.

Юлия не играла.

— На войну тоже, — сказал он.

— И жена должна ехать за вами?

Вопрос был задан будто отвлечённо, но слишком аккуратно.

— Не обязательно.

— А что обязательно?

— Ничего.

— Удобно.

— Почему?

— Мужчина принимает решение служить, а женщина потом должна быть мудрой и всё понять.

Евгений нахмурился.

— Вы на кого-то сердитесь?

— На устройство мира.

— Я его не устраивал.

— Но вам в нём удобнее.

Он хотел возразить.

Потом вспомнил, что ему не приходилось выбирать между мужем и собственной жизнью.

— Наверное, — сказал он.

Юлия посмотрела удивлённо.

— И всё?

— А что ещё?

— Обычно мужчины начинают объяснять женщине, почему она неправа.

— Я не знаю, неправы ли вы.

— Опять «не знаю».

— Зато честно.

Она закрыла крышку рояля.

— Если когда-нибудь вы женитесь, не обещайте женщине, что ничего плохого не случится.

— Почему?

— Потому что случится.

— Мрачный взгляд.

— Реалистичный.

— А что обещать?

Юлия пожала плечами.

— Что не убежите, когда случится.

Евгений смотрел на неё несколько секунд.

Именно тогда впервые понял, что мысль о браке имеет конкретное лицо.

Юлино.

Афанасий Михайлович наблюдал.

Не вмешивался.

До одного вечера.

После ужина он попросил:

— Евгений Николаевич, задержитесь на минуту.

Юлия сразу поняла.

Посмотрела на отца.

— Папа.

— Что?

— Ничего.

— Вот и прекрасно.

Когда остальные вышли, Афанасий Михайлович закрыл дверь кабинета.

— Садитесь.

Евгений сел.

Хозяин дома налил себе немного коньяка.

— Будете?

— Нет, благодарю.

— Правильно. Разговор и без того неприятный.

Евгений выпрямился.

— Я слушаю.

— Вы ухаживаете за моей дочерью?

— Да.

— Хорошо. Значит, не придётся тратить время на очевидное.

Афанасий Михайлович сел напротив.

— Ваше состояние?

Евгений назвал сумму, которую имел, и жалованье.

Хозяин не изменился в лице.

— Имущество?

— Нет.

— Родственники, способные помочь?

— Нет.

— Наследство?

— Нет.

— Замечательно.

Евгений нахмурился.

— В каком смысле?

— В прямом. Теперь я хотя бы знаю, что вы не скрываете неприятные вещи.

— Мне нечего скрывать.

— Всем есть что.

Он отпил.

— Вы любите Юлию?

Евгений почувствовал, как стало жарко.

— Да.

— Давно поняли?

— Нет.

— Хороший ответ.

— Почему?

— Потому что человек, который говорит «с первого взгляда», обычно любит собственное воображение.

Евгений невольно улыбнулся.

Афанасий Михайлович продолжил:

— Я не спрашиваю, сможете ли вы сделать её счастливой.

— Почему?

— Потому что никто не может обещать чужое счастье. Я спрашиваю другое. Если станет плохо — вы останетесь?

Евгений ответил без паузы:

— Да.

— Даже если плохо будет из-за неё?

Теперь он задумался.

— Тогда особенно.

Афанасий Михайлович поставил рюмку.

— Вот теперь можете просить её руки.

Евгений растерялся.

— У вас?

— Нет. У неё.

— Но...

— Я не выдаю дочь замуж. Она сама выходит.

— А если вы против?

— Я бы вам сказал.

— И?

— А дальше всё равно решала бы она.

Евгений посмотрел на него с новым уважением.

— Благодарю.

— Пока не за что. Она может отказать.

— Спасибо, Афанасий Михайлович.

— И ещё.

— Да?

— Не говорите ей красивых речей.

— Я не умею.

— Поэтому и советую.

Предложение получилось хуже, чем мог предположить даже Афанасий Михайлович.

Евгений готовился два дня.

Придумал несколько фраз.

Все забыл.

Они шли по набережной. Ветер был холодный. Юлия держала муфту перед собой и рассказывала о какой-то знакомой.

Евгений почти не слышал.

— Вы меня слушаете?

— Да.

— Что я сказала?

— Что ваша знакомая...

Он замолчал.

Юлия остановилась.

— Евгений Николаевич, с вами что-то случилось?

— Да.

Она побледнела.

— Что?

— Ничего плохого.

— Тогда почему у вас лицо человека перед дуэлью?

Он выдохнул.

— Юлия Афанасьевна.

— Да?

— Я разговаривал с вашим отцом.

Она сразу всё поняла.

И впервые за всё время знакомства смутилась сильнее него.

— Понятно.

— Нет. То есть... возможно.

— Евгений Николаевич.

— Я сейчас скажу.

— Говорите.

— Не перебивайте.

— Хорошо.

— Я...

Он остановился.

Юлия ждала.

Мимо прошла пожилая пара.

Извозчик выругался на лошадь.

Где-то звякнул трамвай.

Евгений вдруг понял, что никакой правильной фразы не существует.

— У меня нет дома, — сказал он.

Юлия моргнула.

— Что?

— Был. Теперь нет. И денег немного. И фамилия у меня старая, но от неё никакой пользы, кроме того, что её удобно писать в документах.

— Это предложение?

— Пока звучит как предупреждение.

Юлия опустила глаза, скрывая улыбку.

— Продолжайте.

— Я не знаю, где буду служить через пять лет. Не знаю, что со мной будет. Не умею обещать, что вам никогда не будет тяжело.

Она подняла взгляд.

— А что умеете?

Евгений долго молчал.

— Остаться.

Юлия перестала улыбаться.

Он сказал тише:

— Если вы позволите, я хочу, чтобы мой дом был там, где вы.

Ветер тронул её волосы.

Несколько секунд она ничего не говорила.

Евгений впервые в жизни понял, что ожидание ответа может быть физической болью.

— Это всё? — спросила Юлия.

Он растерялся.

— Кажется.

— Вы ничего не забыли?

Евгений побледнел.

— Что?

— Спросить меня.

Он закрыл глаза.

Юлия рассмеялась.

— Простите.

— Нет. Вы правы.

Он снова выпрямился.

— Юлия Афанасьевна Немчин, согласитесь ли вы стать моей женой?

— Теперь лучше.

— И?

Она выдержала паузу, явно из мести за все его серьёзные лица.

— Согласна.

Евгений не сразу поверил.

— Правда?

— Нет, я просто решила испортить себе жизнь офицером без состояния.

Он засмеялся.

Потом неожиданно взял её за руку.

Не по правилам.

Не оглядываясь.

Юлия руку не отняла.

За несколько дней до свадьбы Анна Сергеевна позвала его в гостиную одного.

На столе лежала небольшая коробочка.

— Это было кольцо моей матери, — сказала она. — Я хотела отдать его Юле позже. Но думаю, сейчас правильное.

Евгений не сразу взял.

— Я не могу.

— Почему?

— Оно семейное.

— Именно поэтому.

Он посмотрел на неё.

Анна Сергеевна говорила спокойно, но в глазах стояли слёзы.

— Вы теперь тоже семья, Евгений Николаевич. Привыкайте.

Это простое слово оказалось труднее всех красивых поздравлений.

Семья.

Он давно умел жить без него.

Оказалось, гораздо труднее снова разрешить себе его иметь.

Вечером Юлия увидела кольцо и сразу узнала.

— Мама дала?

— Да.

— Значит, вы прошли последнее испытание.

— Какое?

— Она вам доверяет.

— А вы?

Юлия посмотрела на него почти сердито.

— Я собираюсь за вас замуж. Это считается?

— Возможно.

— Опять ваше «возможно».

— Я волнуюсь.

— Наконец-то.

— Чему вы рады?

— Что хоть перед свадьбой вы стали похожи на живого человека.

Они венчались в 1901 году.

Утро было холодным и ясным.
Евгений почти не помнил потом ни цветов, ни гостей, ни того, что говорили знакомые.
Зато помнил руки Юлии.
Они дрожали.
Совсем немного.
Он всегда считал её смелее себя и вдруг понял, что ей тоже страшно.
Это успокоило.
Перед венчанием священник уточнял имена.
— Жених?
Евгений ответил.
— Евгений Николаевич Капорин.
— Невеста?
— Юлия Афанасьевна Немчин.
Юлия посмотрела на него.
И тихо, так, чтобы слышал только он, повторила:
— Евгений Николаевич Капорин.
— Что?
— Проверяю, подходит ли мне.
— И как?
— Фамилия слишком серьёзная.
— Могу заменить.
— На какую?
— Не знаю.
— Тогда оставим.
Она улыбнулась.
Потом началось венчание.
И впервые после смерти бабушки Евгений почувствовал не то, что нашёл новый дом.
Нет.
Он понял другое.
Дом можно построить заново.

Плен.
1917 год.
— Вставать!
Удар сапога в стену вернул его мгновенно.
Петербург исчез.
Евгений сидел на сырой соломе.
Пленные поднимались.
Конвоир кричал у двери.
Евгений не двигался.
Сердце билось так, будто он только что бежал.
Юлия.
Теперь он знал имя.
Юлия.
Женщина у окна.
Его жена?
Он попытался удержать следующее слово.
Оно было совсем рядом.
Ка...

Кап...

Боль ударила в виски.

Перед глазами потемнело.

— Эй!

Старик рядом взял его за локоть.

— Что с тобой?

Евгений поднял голову.

— Я вспомнил.

— Имя?

— Её.

— Кого?

Он прошептал:

— Юлия.

Старик улыбнулся.

— Жена?

Евгений открыл рот.

Хотел сказать «да».

Не смог.

— Не знаю.

— Но имя помнишь.

— Да.

— Уже хорошо.

Конвоир снова крикнул.

Их вытолкнули во двор.

Евгений шёл, повторяя про себя:

Юлия.

Евгений Николаевич...

Дальше была пустота.

Он снова пробовал.

Евгений Николаевич...

Фамилия стояла за той же закрытой дверью, что и раньше.

Он видел, как в церкви женщина улыбается и произносит её.

Слышал звук.

Почти слышал.

Но не мог достать.

Через несколько минут турецкий писарь спросил у пленных имена.

Когда дошла очередь до него, Евгений ответил увереннее, чем прежде:

— Евгений.

Писарь поднял глаза.

— Фамилия?

Евгений закрыл глаза.

На мгновение увидел Юлию у алтаря.

Её губы двигались.

Он знал: сейчас она скажет.

Сейчас.

Ещё секунда.

— Фамилия? — повторил писарь.

Видение исчезло.

Евгений открыл глаза.

— Не помню.
Писарь раздражённо провёл пером по бумаге.
Для него это была пустая строка.
Для Евгения — целая жизнь.
Он отошёл в сторону.
Теперь у него было два имени.
Евгений.
Юлия.
Между ними оставалось всё остальное.

ГЛАВА 5

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ

1917–1918 годы.

Первое, что отнял у него плен, было оружие.
Второе — документы.
Третье — право объяснять, кто он.
С именем получилось страннее.
Его не отняли.
Оно вернулось само — обрывком, почти случайно, и теперь существовало отдельно от человека, которому должно было принадлежать.

Евгений.

В списках его записывали по-разному. Где-то оставляли пустое место вместо фамилии. Где-то ставили знак вопроса. Один писарь, уставший разбираться, однажды вписал рядом с именем слово, означавшее просто «русский».

Евгений увидел запись и долго смотрел.

Русский.

Это хотя бы было правдой.

Всё остальное приходилось доказывать самому себе каждый день.

Пленных перевозили несколько раз.

Дороги сливались.

Один переезд особенно врезался в память.

Их погрузили в товарные вагоны ещё ночью. Внутри пахло деревом, мокрой одеждой и людьми, которым давно негде было помыться. Дверь закрыли снаружи. Свет попадал только через узкую щель под крышей.

Первые часы все стояли или сидели молча.

Потом поезд остановился.

Потом снова пошёл.

Воды дали мало.

К вечеру в вагоне стало душно.

Один пленный начал просить открыть дверь. Сначала спокойно. Потом кричал. Никто не отвечал.

Ночью ему стало плохо.

Евгений пробрался через людей.

— Воздух, — сказал кто-то. — Ему воздуха надо.

Евгений поднял мужчину, усадил ближе к щели. Люди расступились.

— Дыши.

Тот хватал воздух ртом.

— Не могу.

— Можешь.

— Не могу...

Евгений сам не знал, зачем повторяет одно и то же.

Может быть, потому что других слов не было.

Он держал человека за плечи почти до рассвета.

Мужчина выжил.

Когда утром дверь открыли, Евгений впервые увидел, куда они приехали.

Воздух был другой.

Тёплый.

Пахнул чем-то сухим, пыльным и незнакомым.

Вдалеке поднимались холмы. Над крышами виднелись тонкие башни, каких он не помнил в России.

Кто-то из пленных перекрестился.

— Турция, что ли?

Другой ответил:

— А где же ещё.

Евгений смотрел на чужую землю.

И впервые ясно понял: даже если память вернётся сегодня, домой всё равно не дойти пешком.

Между ним и Юлией теперь лежала не только забытая жизнь.

Лежала страна.

Деревни.

Каменные дворы.

Бараки.

Вагоны.

Иногда — несколько дней пешком.

Потом снова вагоны.

Никто не объяснял, куда их везут.

Сначала Евгений пытался запоминать направление по солнцу. Потом понял бессмысленность.

Он не знал, откуда начал путь.

Как можно определить, куда идёшь, если неизвестно, где находился вчера?

Люди вокруг менялись.

Одних оставляли.

Других увозили.

Кто-то умирал.

Приходили новые.

Семёна Лапшина уже давно не было, но Евгений всё ещё иногда повторял про себя:

Дарья. Машенька. Под Рязанью. Боится гусей.

Свою жизнь он помнил хуже чужой.

Иногда это казалось несправедливым.

Иногда — спасением.

Чужая память не болела так сильно.

В одном из лагерей их разделили.

Конвоир ходил вдоль строя и указывал пальцем:

— Офицер.

— Солдат.

— Офицер.

— Солдат.
До Евгения дошла очередь.
Турок посмотрел на его старую форму.
Знаки различия давно были сорваны. Шинель заменили на чужую. Сапоги едва держались.

— Офицер? — спросил он по-русски.
Евгений ответил:
— Был.
— Часть?
— Не помню.
— Чин?
Он знал слово.
Но ответа не было.
— Не помню.
— Полк?
— Не помню.
Конвоир нахмурился.
— Бумага?
— Нет.
Тот пожал плечами и толкнул Евгения в группу нижних чинов.
— Солдат.
Одно слово.
Евгений сделал шаг.
Потом остановился.
— Я офицер.
Конвоир повернулся.
— Бумага?
— Нет.
— Чин?
— Не помню.
— Полк?
Молчание.
Турок усмехнулся.
— Тогда солдат.
Несколько пленных посмотрели на Евгения.
Он почувствовал, как лицо заливает жар.
Не потому, что солдат хуже офицера.
Бабушка когда-то научила его другому.
Труд не унижает человека.
Но сейчас у него отнимали не привилегию.
У него отнимали доказательство собственной жизни.
Где-то существовал Евгений Капорин — офицер, муж Юлии, человек с прошлым.
Здесь стоял Евгений без фамилии, который не мог назвать даже номер части.
Он перешёл в указанную группу.
И больше не спорил.
Через несколько минут в офицерскую группу поставили другого русского.
Молодого штабс-капитана, которого Евгений видел впервые. Тот был худ, грязен, но на внутренней стороне шинели сохранилась пришитая метка с фамилией. Один из пленных подтвердил часть. Другой назвал командира.

Турок кивнул.

— Офицер.

Штабс-капитан перешёл вправо.

Проходя мимо Евгения, посмотрел на него с недоумением.

— Ваше благородие, вы чего здесь?

Евгений замер.

— Вы меня знаете?

Офицер остановился.

— Нет. По виду.

Надежда погасла так быстро, что стало стыдно за саму надежду.

— Я ничего не помню.

Штабс-капитан посмотрел на конвоира.

— Он офицер. Я ручаюсь.

Турок спросил:

— Знаешь его?

— Нет, но...

— Тогда иди.

— По выправке видно.

Конвоир усмехнулся.

— Мне бумага видно лучше.

Офицер хотел спорить, но Евгений покачал головой.

— Идите.

Тот ушёл вправо.

Через час офицерской группе выдали немного лучший паёк и разместили в отдельном помещении.

Евгений остался с остальными.

Вечером он долго думал не о хлебе.

О словах: «по виду».

Значит, что-то в нём всё ещё было видно.

Даже когда он сам этого не видел.

Первую тяжёлую работу дали на следующий день.

Нужно было разгружать мешки.

Евгений таскал их вместе со всеми.

Плечо после старой травмы ныло. Голова к вечеру становилась тяжёлой.

Один из пленных упал.

Надзиратель крикнул.

Мужчина не поднялся.

Евгений поставил мешок и подошёл.

— Вставай.

Тот посмотрел мутно.

— Не могу.

— Можешь.

— Отстань.

Надзиратель приближался.

Евгений подхватил пленного под руку.

— Сейчас получишь.

— Всё равно.

— Мне — нет.

— Что?

— Мне не всё равно, если тебя будут бить рядом со мной.

Мужчина неожиданно рассмеялся.

— Барин нашёлся.

— Вставай.

Они успели поднять мешок вместе.

Надзиратель прошёл мимо.

Вечером тот человек протянул Евгению кусок луковицы.

— Держи.

— Не надо.

— Бери. А то опять скажешь, что тебе не всё равно.

Евгений взял.

Луковица была горькая, почти сырая.

Он ел медленно и думал, что когда-то, наверное, считал подобную пищу бедняцкой.

Не помнил.

Голод быстро отменяет многие убеждения, особенно те, которых человек никогда не проверял.

Однажды его всё-таки ударили за то, чего он не делал.

У склада пропал нож.

Обычный кухонный нож с деревянной ручкой, но надзиратель поднял шум так, словно исчезло оружие из арсенала.

Пленных поставили вдоль стены.

Обыскали.

Нож нашли возле места, где утром работал Евгений.

Он сразу понял, как это выглядит.

— Не брал.

Надзиратель показал нож.

— Здесь.

— Видел.

— Ты работа.

— Я работал. Не брал.

Первый удар пришёлся ладонью по лицу.

Евгений качнулся.

Внутри мгновенно поднялась ярость.

Не страх.

Ярость была почти приятной — ясной, горячей, простой.

Ему захотелось ударить в ответ.

Он даже увидел, как это сделать.

Шаг в сторону.

Локоть.

Захват.

Надзиратель был тяжёлый, но медленный.

Евгений мог повалить его.

Возможно, успел бы ударить ещё раз, прежде чем подбегут остальные.

А потом?

Потом приклады.

Карцер.

Может быть, смерть.

И ничего не изменится.

Надзиратель ударил снова.

— Нож!

Евгений почувствовал кровь во рту.

— Не брал.

— Кто?

— Не знаю.

Третий удар.

Он сжал кулаки.

Перед глазами вдруг мелькнула бабушкина рука, поправляющая шарф.

«Если тебя будут бить много людей...»

Продолжение не пришло.

Но Евгений почему-то разжал пальцы.

— Не брал, — повторил он.

Через несколько минут настоящий вор сознался.

Молодой пленный спрятал нож, чтобы ночью разрезать мешок с крупой.

Надзиратель посмотрел на Евгения.

Не извинился.

Просто махнул рукой: уходи.

Евгений остался на месте.

— Что? — спросил тот.

Евгений смотрел на него.

Внутри всё ещё хотелось ударить.

Очень.

Он понял, что может уйти только сейчас. Через секунду будет поздно.

Развернулся.

Пошёл.

В бараке мужчина с луковицей спросил:

— Чего лицо разбито?

— Справедливость восторжествовала.

— Вижу.

— С опозданием.

Тот засмеялся.

Евгений тоже.

А ночью, когда никто не видел, он ударил кулаком в стену.

Один раз.

Потом ещё.

Костяшки содрались.

Стало легче.

Он не был святым.

Просто иногда выбирал, кого именно ударить.

Самым трудным оказался не голод.

И не побои.

Самым трудным было исчезновение времени.

День не отличался от следующего.

Подъём.

Работа.

Очередь за едой.

Проверка.

Сон.
Болезни.
Иногда дождь.
Иногда жара.
Иногда холод.
Человек начинал жить от миски до миски.
Евгений заметил это в себе и испугался.
Раньше — он чувствовал это каким-то внутренним знанием — у него были планы.
Служба.
Дом.
Юлия.
Теперь самым важным событием дня мог стать лишний кусок хлеба.
Однажды вечером хлеб действительно появился.
На кухне оставили корзину без присмотра.
Евгений проходил мимо с ведром.
В корзине лежали три небольших куса.
Никого.
Он остановился.
Желудок сжался так сильно, что заболело.
Просто взять.
Один.
Никто не увидит.
Это даже не кража.
Люди, которые его держат, должны кормить лучше.
Он протянул руку.
Пальцы коснулись хлеба.
И замерли.
Перед глазами почему-то появилась серебряная ложка.
Старая женская рука держит её на ладони.
«Если за неё можно купить хлеб человеку...»
Дальше не вспомнилось.
Только ощущение.
Чужое брать нельзя.
Евгений отдернул руку.
Почти сразу разозлился.
На кого?
На бабушку, которой не помнил?
На самого себя?
На неизвестный закон, сидевший внутри крепче голода?
Он поднял ведро и ушёл.
Через несколько шагов остановился.
Вернулся.
Взял хлеб.
Один кусок.
Посмотрел на него.
— К чёрту, — прошептал.
Спрятал за пазуху.
Сердце билось быстро.
Он дошёл до барака.

Сел у стены.

Достал хлеб.

Рядом лежал тот самый мужчина, которому он помог с мешком. У него началась лихорадка. Два дня почти ничего не ел.

Евгений посмотрел на хлеб.

Потом на больного.

И выругался.

— Что? — едва слышно спросил тот.

— Ничего.

Евгений разломил кусок.

Половину протянул ему.

— Ешь.

— Откуда?

— Украл.

Мужчина открыл глаза шире.

— Ты?

— Я.

— А говорил...

— Ешь, пока я не стал хорошим человеком обратно.

Тот усмехнулся.

— Вот теперь верю, что ты нормальный.

Евгений съел свою половину.

Хлеб был самым вкусным, который он помнил.

И самым горьким.

Ночью долго не спал.

Он не гордился собой.

И не оправдывался.

Просто впервые понял: человек остаётся собой не потому, что никогда не падает.

Иногда потому, что после падения ему всё ещё неприятно лежать.

Болезнь начала выкашивать барак через несколько недель.

Сначала кашель.

Потом жар.

Потом люди переставали вставать.

Тех, кому становилось совсем плохо, уносили в лазарет.

Иногда возвращались.

Чаще — нет.

Евгений помогал таскать больных.

Не потому, что приказали.

Просто остальные старались держаться подальше.

Он тоже боялся.

Очень.

Однажды поймал себя на мысли: пусть умрёт этот человек, только бы не заразиться.

Мысль была быстрой.

Настоящей.

Он испытал стыд.

Потом злость из-за стыда.

Потом всё равно поднял больного.

Нравственность в плену оказалась не красивой.

Она пахла потом, рвотой и страхом.

В лагере умерших выносили за ограду почти каждый день.

Обычно двое пленных брали носилки.

Евгений сначала старался не смотреть на лица.

Потом перестал.

Он понял: человеку, которого уже никто не зовёт по имени, особенно важно, чтобы хотя бы кто-то видел его лицо в последний раз.

Однажды умер совсем молодой солдат. Лет девятнадцать, не больше. При нём нашли деревянный крестик и клочок бумаги с плохо различимым адресом.

Надзиратель хотел выбросить бумагу вместе с грязной одеждой.

Евгений поднял.

— Нельзя.

— Мусор.

— Адрес.

Турок не понял.

Евгений спрятал бумагу за пазуху.

Надзиратель махнул рукой.

Вечером он попросил грамотного пленного разобрать надпись.

Там была деревня в Тульской губернии и женское имя.

Евгений переписал адрес на более чистый кусок бумаги.

— Зачем? — спросил сосед.

— Если выйду, отправлю.

— Ты уже половине России что-то собираешься отправлять.

— Значит, придётся много писать.

— А свою фамилию вспомнил?

— Нет.

— Станный ты.

Евгений пожал плечами.

Он и сам это знал.

Память о себе не возвращалась, зато вокруг него постепенно собирались чужие имена.

Семён Лапшин.

Дарья.

Машенька.

Теперь ещё Николай и неизвестная женщина из Тульской губернии.

Иногда казалось, что он несёт маленькое кладбище внутри головы.

И боялся потерять хотя бы одну могилу.

В начале 1918 года часть пленных перевели снова.

Дорога длилась долго.

Евгений перестал считать дни.

Менялись пейзажи.

Язык вокруг звучал всё чаще незнакомый и всё реже русский.

Иногда в поселениях появлялись вывески, которые он не мог прочесть.

Люди смотрели на колонну кто с любопытством, кто с безразличием.

Один мальчик бросил пленным яблоко.

Надзиратель хотел отогнать его.

Мальчик убежал, смеясь.

Яблоко упало между двумя пленными.

Никто не успел схватить.

Оно катилось рядом с колонной несколько шагов.

Евгений смотрел на него.

Красное.

Чистое.

Почти нелепое среди грязи.

Потом колесо телеги раздавило его.

Запах свежего яблока ещё долго шёл за ними.

И почему-то вызвал у Евгения образ Юлии.

Она сидит за столом.

Режет яблоко маленьким ножом.

Говорит:

— Если мы когда-нибудь заведём сад, ты будешь за ним ухаживать.

— Почему я?

— Потому что ты из степи. Значит, умеешь обращаться с землёй.

— Железная логика.

— У меня другой нет.

Образ исчез.

Евгений остановился.

Конвоир толкнул его в спину.

— Идти!

Он пошёл.

Но весь день внутри повторялось:

Если мы когда-нибудь заведём сад...

«Мы».

Значит, Юлия была не просто знакомой.

Он почти знал это.

Почти.

Перед госпиталем их заставили раздеться.

Одежду складывали в одну кучу для обработки. То, что было совсем рваным, бросали отдельно.

Евгений снял шинель.

Она давно уже не была его настоящей формой: чужая, перешитая, без погон, с пятнами, которые не отстирывались. И всё же он держал её дольше, чем требовалось.

На внутренней стороне осталась пуговица старого образца.

Ничего особенного.

Просто металл.

Но пальцы не отпускали.

Надзиратель указал на кучу.

— Давай.

Евгений положил шинель.

Потом снял рубаху.

Сапоги.

Ремень.

Всё исчезало в общей куче.

Ему вдруг стало невыносимо.

На поле боя у него забрали оружие.

Потом документы.

Потом чин перестал существовать без доказательств.

Теперь исчезало последнее, что хотя бы отдалённо связывало тело с прежним человеком.
Он наклонился и незаметно оторвал пуговицу.
Сжал в ладони.
Это была кража у собственной шинели.
Смешно.
Но отдать её он не смог.
После бани выдали грубую серую одежду.
Евгений оделся.
Посмотрел на себя в мутное зеркало.
Коротко остриженные волосы.
Осунувшееся лицо.
Серая рубаша без знаков.
Он не узнавал человека напротив.
И всё-таки спросил мысленно:
«Ты кто?»
Отражение, разумеется, не ответило.
Вечером он спрятал пуговицу под тюфяк.
Не потому, что был уверен: она его.
Потому что человеку без прошлого иногда достаточно одной ненужной вещи, чтобы поверить, что до сегодняшнего дня он всё-таки существовал.
Ночью он ещё раз проверил, на месте ли пуговица.
Была.
Евгений усмехнулся собственной осторожности.
Когда-то он, вероятно, хранил письма, документы, фотографии. Теперь всё его имущество помещалось в сжатом кулаке.
И всё равно он впервые за долгое время заснул спокойнее.
Через несколько недель пуговица потеряется.
Евгений будет искать её под койкой, в щелях пола, в своей одежде.
Не найдёт.
И неожиданно перенесёт потерю легче, чем ожидал.
К тому времени он начнёт понимать: доказательства прошлого могут исчезнуть все до одного.
Если внутри ничего не останется — не спасёт ни одна пуговица.
А если останется — возможно, однажды не понадобятся и доказательства.
Военный госпиталь оказался старым каменным зданием на окраине большого города.
Евгений не знал названия.
Позже узнает, что путь постепенно ведёт его к Константинополю.
Пока город был просто ещё одним чужим местом.
В госпитале не хватало рук.
Поэтому пленных, способных стоять, использовали для работы.
Евгению выдали серую рубаху, штаны, деревянные башмаки и ведро.
Человек, заведовавший хозяйственной частью, показал на коридор.
— Мыть.
Евгений понял.
Посмотрел на ведро.
Потом на тряпку.
— Я...
Хотел сказать: «офицер».
Не сказал.

Какой офицер?
Без полка.
Без чина.
Без бумаги.
Мужчина повысил голос:
— Мыть!
Евгений опустился на колени.
Пол был липким от засохшей крови и грязной воды.
Первый раз тряпку он держал неправильно.
Слишком осторожно.
Рядом работал пожилой санитар, местный, который засмеялся и выхватил её.
Показал движение.
— Вот.
Евгений повторил.
Санитар покачал головой.
Сказал что-то длинное.
По тону Евгений понял: руки у него для другой работы.
Это почему-то унизило сильнее приказа.
Он начал тереть пол яростно.
Через час ладони покрылись волдырями.
Через два один лопнул.
Кровь смешалась с водой.
Евгений посмотрел.
И продолжил.
Первые дни в госпитале он почти не разговаривал.
В госпитале унижение имело другой вид.
Здесь его почти не били.
Просто не замечали.
Он мог пройти мимо людей десять раз с ведром, и никто не смотрел в лицо. Для врачей он был парой рук. Для надзирателей — русским пленным. Для больных — человеком, который принесёт воду или уберёт грязь.
Однажды молодой офицер, лежавший после операции, уронил кружку.
Евгений нагнулся поднять.
Тот сказал что-то резкое, не глядя на него, и толкнул кружку ногой дальше.
Евгений выпрямился.
Внутри всё сжалось.
Когда-то, возможно, этот человек вставал бы при его появлении или хотя бы обращался как к равному.
Теперь Евгений поднял кружку, вымыл и поставил на стол.
Офицер даже не поблагодарил.
Вечером Евгений долго думал, почему это задело сильнее удара.
Потом понял.
Побои признавали в нём врага.
Безразличие не признавало вообще никого.
На следующий день тот же офицер попросил воды.
Евгений принёс.
Не из покорности.
Просто человек хотел пить.
И это снова оказалось важнее того, кем они оба были вчера.

Русскую речь слышал редко. Большинство больных и служащих говорили на других языках. Евгений различал интонации быстрее слов: раздражение, просьбу, страх, благодарность.

Ему дали угол в помещении для подсобных работников. Там стояло шесть коек, но людей обычно было восемь. Кто-то спал на полу.

Вставали затемно.

Сначала вода.

Потом коридоры.

Потом прачечная.

Потом снова вода.

Он научился выжимать тряпку так, чтобы не рвать кожу на ладонях. Научился носить два ведра сразу. Научился отличать запах свежей крови от старой и понял, что второй хуже.

Однажды ему велели вынести тело умершего.

Вместе с другим санитаром Евгений переложил мужчину на носилки.

Простыня сползла с лица.

Второй санитар дёрнул ткань обратно небрежно.

Евгений поправил.

Закрыв умершему глаза.

Выровнял руки вдоль тела.

Санитар что-то спросил.

Евгений не понял.

Тот повторил жестами: зачем?

Евгений ответил по-русски, хотя собеседник всё равно не понимал:

— Потому что он человек.

Сказал и сам удивился.

Фраза звучала знакомо.

Возможно, когда-то он уже произносил её.

Или кто-то произносил ему.

В дверях стоял русский врач.

Евгений этого не заметил.

Врач ничего не сказал.

Только проводил носилки взглядом.

Это была первая минута, когда он обратил внимание на странного санитаря.

Вечером ему велели вынести простыни из перевязочной.

Они были тяжёлыми от воды и крови.

Евгений нёс таз по коридору, когда из палаты донёсся крик.

Потом второй.

Дверь распахнулась.

Молодой санитар выскочил наружу.

За ним врач крикнул по-русски:

— Держать его надо, не смотреть!

Евгений остановился.

Русский язык прозвучал почти как удар колокола.

В палате на кровати метался раненый. Один мужчина пытался удержать плечи, другой — ноги. Повязка на бедре пропиталась кровью.

Врач оглянулся.

Увидел Евгения с тазом.

— Ты русский?

— Да.

— Таз брось. Иди сюда.
Евгений поставил простыни.
— Держи плечи.
Он подошёл.
Раненый был турок.
Молодой.
Почти мальчишка.
Евгений вспомнил телегу в первый день плена.
«Он же турок».
«Раненый».
Он прижал больного к кровати.
Тот кричал.
Пытался вырваться.
Врач работал быстро.
— Сильнее держи!
Евгений усилил хватку.
Раненый ударил его локтем в лицо.
Из носа пошла кровь.
— Ничего, — сказал врач. — Не отпускай.
— Не отпущу.
Через несколько минут всё закончилось.
Больной обмяк.
Врач выпрямился.
Впервые внимательно посмотрел на Евгения.
— Нос цел?
— Думаю.
— Думать потом. Сядь.
— Мне простыни...
— Простыни подождут.
Евгений сел на табурет.
Врач промыл ему лицо.
— Имя?
— Евгений.
— Фамилия?
— Не помню.
Рука врача остановилась.
— Что значит — не помнишь?
— Именно это.
— Контузия?
— Да.
— Когда?
— Не знаю точно. В конце шестнадцатого.
— Где?
— Не помню.
— Часть?
— Не помню.
Врач смотрел уже иначе.
Не как на санитаря.
— Ты солдат?

Евгений ответил привычно:

— Был офицером.

— Чин?

Он покачал головой.

— И откуда знаешь, что офицер?

— Не знаю.

Врач усмехнулся.

— Удобная беседа.

— Мне тоже надоела.

Врач неожиданно улыбнулся.

— Образование есть?

— Наверное.

— Читать по-русски можешь?

— Да.

— По-французски?

Евгений задумался.

— Не знаю.

— Проверим.

Врач отошёл к столу, взял книжку, открыл наугад и протянул.

Текст был французский.

Евгений посмотрел.

Первые секунды буквы казались обычными.

Потом смысл сложился сам.

Он прочитал предложение.

Перевёл.

Врач медленно сел напротив.

— А по-немецки?

— Не знаю.

— Это уже начинает нравиться.

Он нашёл другой лист.

Евгений прочитал несколько слов, но дальше запнулся.

— Немного.

Врач постучал пальцем по столу.

— Санитар, значит.

Евгений промолчал.

— Кто тебя сюда определил?

— Не знаю имени.

— Прекрасно.

Врач снова посмотрел на него.

— Встань.

Евгений поднялся.

— Смирно.

Тело подчинилось раньше разума.

Пятки сошлись.

Спина выпрямилась.

Подбородок занял привычное положение.

Врач не улыбался.

— Вольно.

Евгений остался стоять.

— Кто ты?

— Евгений.

— Это имя.

Врач сделал паузу.

— Я спросил: кто ты?

Евгений смотрел на него.

Внутри возникло раздражение.

Потом страх.

Потом знакомая пустота.

— Не знаю.

Врач кивнул.

— Вот теперь верю.

— Чему?

— Что ты не притворяешься.

На следующий день Евгения снова поставили мыть пол.

Это почему-то разозлило.

Он ожидал, что разговор с русским врачом что-то изменит.

Ничего не изменилось.

Ведро было тем же.

Тряпка — той же.

Кровь на полу тоже не интересовалась его прошлым.

Евгений работал молча.

В полдень прошёл вчерашний врач.

Не остановился.

Только бросил:

— После работы зайдёшь ко мне.

— Зачем?

Врач обернулся.

— Хочу понять, почему человек, который не умеет нормально выжимать тряпку, стоит по команде лучше половины моих бывших ротных.

Евгений впервые за долгое время почувствовал не надежду.

Надежда была слишком опасной.

Любопытство.

К самому себе.

Вечером он вошёл в маленькую комнату при перевязочной.

Врач сидел за столом.

Перед ним лежали несколько книг.

Русская.

Французская.

Старый военный справочник.

И лист бумаги.

— Садись.

Евгений сел.

— Начнём с простого.

— С фамилии?

— Нет. Если бы ты её знал, мне было бы скучно.

Врач придвинул лист.

— Напиши своё имя.
Евгений взял перо.
Рука замерла.
Потом сама вывела:
«Евгений».
Почерк был быстрый, уверенный, совсем не похожий на руку человека, который месяцами таскал ведра и мешки.
Врач посмотрел.
— Хороший почерк.
— Было бы странно забыть буквы.
— Не всегда.
— Что дальше?
— Фамилия.
Евгений сжал перо.
На бумаге появилась буква.
«К».
Он замер.
Врач наклонился.
— Продолжай.
Евгений попытался.
Перо дрогнуло.
Кап...
В голове вспыхнуло лицо Юлии.
Церковь.
Белая фата.
Её губы:
«Евгений Николаевич Кап...»
Боль ударила так резко, что перо выпало.
Евгений схватился за висок.
— Что?
— Не знаю.
— Что видел?
— Женщину.
— Имя?
Он закрыл глаза.
— Юлия.
— Кто она?
— Не знаю.
— Жена?
Евгений тяжело дышал.
— Может быть.
Врач посмотрел на бумагу.
Там стояла одна буква.
К.
— А это?
Евгений открыл глаза.
— Не знаю.
— Но написал сам.
— Да.

— Значит, где-то знаешь.

Врач не торопил.

Через минуту забрал лист и аккуратно положил в ящик.

— На сегодня хватит.

Евгений поднялся.

У двери остановился.

— Доктор.

— Да?

— Вы сможете вернуть память?

Врач долго не отвечал.

— Не знаю.

Евгений усмехнулся.

— Наконец-то нормальный ответ.

Врач тоже улыбнулся.

— Но попробовать можно.

Евгений вышел в коридор.

Там пахло карболкой, потом и кровью.

В конце прохода стояло его ведро.

Завтра утром он снова будет мыть полы.

Снова носить воду.

Снова выполнять приказы людей, которые считают его безымянным пленным.

Ничего внешне не изменилось.

И всё же в маленьком ящике русского врача лежал лист бумаги.

На нём было написано:

Евгений.

И ниже — одна буква.

К.

Первая буква фамилии.

Первая трещина в стене.

За ней всё ещё скрывались дом, степь, Петербург, военная форма, бабушка и Юлия.

Но стена больше не была целой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.